

Анатолий Агарков

Самои

Анатолий Агарков

Самои

«Издательские решения»

Агарков А.

Самой / А. Агарков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-906933-7

Людей терзает необъятность вечности. И потому мы задаёмся вопросом: услышат ли потомки о наших деяниях, будут ли помнить наши имена, когда мы уйдём, и захотят ли знать, какими мы были, как храбро мы сражались, как неистово мы любили. (Д. Бениофф)

ISBN 978-5-44-906933-7

© Агарков А.
© Издательские решения

Содержание

Самой	6
Краснёнок	8
Колчаковщина	14
Дезертир	19
Несмышлёнка	27
Голод	33
Свадьба	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Самой

Анатолий Агарков

© Анатолий Агарков, 2018

ISBN 978-5-4490-6933-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Самой

*Людей терзает необъятность вечности.
И потому мы задаёмся вопросом:
услышат ли потомки о наших деяниях,
будут ли помнить наши имена, когда мы уйдём,
и захотят ли знать, какими мы были,
как храбро мы сражались,
как неистово мы любили.
(Д. Беншофф)*

Мало солнце, но хватает его на весь раскинувшийся под ним край. И от него колеблется маревом горизонт. Слепящий блеск играет в зеркалах бесчисленных озёр. Чуть приметными морщинами рождаются под ветром волны и, разгоняясь на просторе, набирают мощь, вскипают пенной гривой, без усталости моют прибрежные пески и раскачивают камыши. Рыба, дичь кишмя кишит.

Меж озёр громоздятся горы, замшелые, до самой макушки заросшие шиповником, акацией, сосной и берёзой. В густых лесах, в горных распадках, в низинах и долинах, в степях и поймах рек – всякой птицы, всякого зверья можно встретить.

В утробе седых громад, размытых, разрушенных, навороченных – и железо, и медь, и золото, и ртуть, и свинец, и графит, и цемент, и чего только нет, а уголь чёрным глянцем выступает по всем трещинам, залегает могучими пластами. Под мохнатыми корнями вывороченной бурей вековой сосны вдруг тонко заиграют радугой искристые самоцветы.

От гор, от лесных озёр потянулись на юг степи, потянулись и потеряли границы и пределы. Когда плужный лемех режет в широком поле борозду, отваливается такая мягкая земля, что не земля, а пух, хоть подушки набивай. Но иной раз вывернется со скрежетом проржавевший железняк или скругленный некогда речными струями булыжник.

Какую удивительно родящую силу таит в себе эта земля! Вспахешь стерню или целину, былинки не оставишь от буйного царства зелени – глядь, после дождя побегу пошла, глядь – и затянулась чёрная рана.

После долгой зимы, заслезится под лучами снег, сойдёт, прольют дожди, напьётся жадная земля, а потом начнётся радующая глаз и сердце безумная борьба за жизнь всего живого.

Кто же хозяева этого чудесного края?

Мордва, чуваша, башкиры живут здесь с незапамятных времён.

А вслед за Ермаком Тимофеичем пришли и расселились по берегам рек и озёр донские казаки. Диким и страшным тогда казался край. Трескучими морозами, слепящими метелями пугал Седой Урал. Повылазили из болот, из камышей скрюченные, пожелтевшие лихорадки, впились в донцов, не щадили ни старого, ни малого, много сгубили народу. В кривые сабли и меткие стрелы приняли пришельцев инородцы. Плакали казаки, вспоминая родной Дон, и день, и ночь бились с болезнями, «татарвой», с дикой землёй – нечем было поднять её вековых, нетронутых человеком залежей. И выстояли, выжили, подняли землю, развели скот, обустроили станицы.

В пору царствования Екатерины Великой безвестный на Урале петербургский сановник граф Николай Мордвинов выиграл в карты деревеньку без земли в Курской губернии, а другую выменял на борзых, и пригнал крепостных в эти места. Первые поселения крестьян на Южном Урале так и назывались в честь барина-благодетеля – Николаевка да Мордвиновка. Повторилась вновь трагедия первопроходцев – и нужда, и голод, и стычки с инородцами. Но выжили

«куряки» и прижились на Южном Урале – распахали целину, понастроили деревень да хуторов с церквями, школами.

После отмены крепостного права новая волна переселенцев хлынула на Урал из-за Волги. Потянулись гонимые нуждой из Рязанской, Тамбовской, Вятской губерний, из Украины. Потянулись голь и беднота с убогим скарбом, голодными детишками, расселились по деревням и станицам и щёлкали, как голодные волки, зубами на пустующие земли, которые нечем было поднять. И стали батраками переселенцы у казаков, зажиточных «куряков», которые всячески теснили их, драли по две шкуры за каждую пядь освоенной земли и с глубоким презрением называли «калдыками». А вчерашние крепостные, упорные, как железо, без своей земли, поневоле бросающиеся на всякие ремёсла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к свободной и сытой жизни, платили богатеям тою же монетой – «куркули», «челдоны».

Прекрасный край, трудолюбивый народ, пропитанный, как горькой жёлчью, едкой злобой, ненавистью и презрением друг к другу.

Отчего это с хриплыми криками бегают по улицам николаевские мужики, растеряв шапки? Бегают взад и вперёд, раскидывая лаптями и валенками сыпучий снег, и рёв сотен глоток сотрясает хмурое небо. Праздник что ли? А пятисотпудовый церковный колокол, надрываясь, мечет тревожный набат по округе.

Что-то произошло в далёком Петербурге, и вот уже в Москве идут бои. Никто толком не знает – кто с кем и за что дерётся. Одно только врезалось в сердце, и было понятным:

– Долой царя-кровопийцу!

Всколыхнулась Николаевка, прогнали управляющего и взяли власть в свои руки. Не было тогда у далёкого царя силы побороть эту стихию. Но поползли по станицам слухи, что «калдыки» с «куряками» сговорились землю у казаков отнять. И потемнели станичники, стали враждебно коситься на разгулявшееся крестьянство.

Не потечь реке вспять, не бывать мужикам над вольным казачеством. Ворвались в бунтующую Николаевку пластуны из соседней станицы Кичигинской и мигом усмирили безоружных крестьян. Много их тогда было отправлено в Троицк для вразумления, многих посекли кнутами принародно на деревенской площади. До сей поры тaitся обида в крови николаевских, теперь уже красносельских стариков на соседей кичигинцев. «Всех казаков перебьём, – говорили их деды, мечтая о светлых, грядущих днях, – самой останемся». И за говор свой русский: курский, рязанский, тамбовский получили от казаков ещё одну презрительную кличку – «самой».

Краснёнок

*Только борьба воспитывает эксплуатируемый класс,
только борьба открывает ему меру его сил,
расширяет его кругозор, поднимает его способности,
проясняет его ум, выковывает его волю.
(В. Ленин)*

На ослепительно синем небе ярилось июльское солнце. Неправдоподобной белизны облака и рады бы убежать за горизонт от палящих лучей, да нет попутного ветра. Под ними изнывает от зноя пожелтевшая степь – отдавая последнюю влагу, укрывает маревом горизонт. И такое безмолвие вокруг, что, кажется, в полегших травах не осталось больше живности. Не этой ли утрате печалится незримый жаворонок?

Копыта лошадей выбивают из потрескавшегося глянца дороги тонкие клубы пыли, от которой тускнеют их лоснящиеся бока. Кони и седоки изнывают от жары, прилипчивых мух и сонно вздрагивают от гудящих, порой над самым ухом, оводов.

Впереди, где сужалась до нитки и ныряла в голубоватую мглу испарений лента дороги, плыла над горизонтом церковь, белостенная, краснокупольная, с тёмными провалами окон высокой колокольни. Чуть угадывались, а теперь, приближаясь, принимали всё более реальные очертания крыши изб и зелёные копны садов подле них. Они ласкали взор манящей прохладой, ожидаемым роздыхом и живительной влагой из бездонных колодцев.

Немного приободрились, когда повстречали первого селянина. Неподалёку от дороги, на солнцепёке, опёршись обеими руками на костыль, неподвижно стоял седобородый пастух – старик с головою, повязанной выгоревшей красной тряпицей, в грязных холщовых штанах, в длинной, до колен, низко подпоясанной рубахе.

Его стадо широко разбрелось по обе стороны дороги и, пощипывая на ходу траву, не спеша брело в одном направлении – в ложину, тёмно-изумрудным пятном густых камышей, как заплатка, выделяющуюся в порыжелой степи. Что-то древнее, библейское было в этой извечно знакомой всем картине.

Старик долго смотрел вслед всадникам, заслонившись от солнца чёрной от загара и грязи ладонью, а насмотревшись, покачал головой и побрёл вслед утекающему стаду.

Миновав первые дома, подъехали к церкви. Пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву у поваленного плетня большого запущенного сада. Где-то надсадно кудахтала курица. Откуда-то донёсся женский возглас и звон стеклянной посуды. Босоногий белоголовый мальчишка лет семи, подбежав поближе, восхищенно рассматривал вооружённых всадников.

Дружный топот копыт умолк, оборвался, слышно было только, как позвякивают удилами кони, вытягивая морды к тяжёлым метёлкам придорожного пырея. По знаку ротмистра стали спешиваться и заводить лошадей в садовую сень. Мигом окружили колодец. Холодную, чуть солоноватую воду пили маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра, пили большими, звучными, как у лошадей, глотками.

Расседлав коня, допустив его к траве, к колодцу протолкался низкорослый, лысый, кривоногий подхорунжий, выплеснул из ведра, зачерпнул полное, поискал глазами ротмистра, покосился на нетерпеливые жаждущие лица кавалеристов и принялся пить. Заросший седой щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастёрки губы и мокрый подборок, недовольно сказал:

– Вода-то не очень хороша. Только в ней и хорошего, что холодная и мокрая, а соли можно и поубавить.

А ротмистр уже шагал по тропинке через сад, прислушиваясь к пересвисту птиц, невидимых за листвой, и с наслаждением вдыхал густой аромат наливающихся плодов.

Он был молод, но уже с тронутыми сединой усами над тонкогубым ртом. На нём были сапоги с маленькими офицерскими шпорами малинового звона, суконные галифе и френч, слева – шашка с серебряным темляком, справа – маузер на ремне в деревянной колодке, фуражка сдвинута на затылок, и в глазах – синий пламень.

Не смотря на то, что в течение нескольких суток он толком не спал, недоедал, а в седле проделал утомительный марш в триста с лишним вёрст, у него в эту минуту было прекрасное настроение.

Много ли человеку на войне надо, – рассуждал он, – отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из дому весточку, не спеша покурить у походного костра – вот и все скоротечные солдатские радости.

Сад закончился таким же большим и внешне запущенным домом. Тремя ступенями поднявшись на крыльцо, ротмистр постучал в дверь негромко, но настойчиво. Не ожидая разрешения, вошёл в полутёмные сенцы и ещё через одну дверь в комнату.

– Есть кто дома? – спросил.

– Есть, а что вы хотели? – преждевременно полнеющий, низкорослый священник быстрыми шагами вышел навстречу.

– Ротмистр Сапрыкин... Александр Васильевич, – представился ротмистр. – Мы на марше. Переждём жару в вашем, с позволения, саду, а к вечеру – дальше.

– Рад гостям, – священник чуть склонил голову. – Отец Александр... Александр Сергеевич.

– До чего вода у вас в деревне – как бишь её? – солоноватая, – сказал ротмистр и, сняв фуражку, отёр платком взмокший лоб, считая церемонию представления законченной. – Жара, с дороги пить хочется, а вода просто никуда не годная.

И добавил с упрёком:

– Как же вы хорошей воды не имеете?

– Солоноватая? – удивлённо спросил хозяин. – Да вы в каком же колодце брали? В саду? Да та только ж на полив, да скотине ещё.

– А вот в Ложку, – он неопределённо махнул рукой, – да ещё из Логачёва колодца весь край воду берёт. С чего же она могла нынче сгубиться? Вчера приносил – лёгкая вода, хорошая. Да вы попробуйте. Маша! Мария Степановна!

В проёме двери показалась полная, подстать мужу, молодая женщина, смущённо улыбнулась офицеру, полыхнув румянцем ото лба до шеи.

– Встречай, матушка, гостя, а я об остальных попекусь.

– Нам бы, добрые хозяева, – решительно сказал ротмистр, – ведра три картошки, хлеба, ну и соли, что ли. Солдатский желудок не притязателен.

– Будет, будет, – закивал головой хозяин, направляясь к двери.

Ротмистр под возглас хозяйки: «Ой, да что вы, у меня не прибрано!», проворно скинул сапоги, прошёл к распахнутому в сад окну, высоким фальцетом крикнул:

– Кутейников, прими провиант!

В распахнутое окно задувал тёплый ветерок. Он парусил, качал тюлевые занавески, нёс в комнату аромат яблонь, зреющей вишни, медуницы и мягкую горечь разомлевшей под солнцем полыни. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни.

Разомлевший от еды, опившись сладковатого костяничного квасу, ротмистр боролся со сном и невпопад поддерживал беседу с хозяевами. Говорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что мужиков в деревнях не хватает, и бабам трудно будет управляться с уборкой, и что, пожалуй, много поляжет, посыплется зерна, попадёт под снег.

– Вот никак я не пойму, господин офицер, – подставляя гостю блюдце бордовой малины, говорила рдеющая попадья, – на Украине немцы, за Кавказом турки, а мы, русские люди, про- меж собой воюем. Как это?

– Все русские, да не все люди. Иные хуже распоследнего турчанина. Большевики, эсеры, меньшевики и анархисты всякие... Кто они вам? Не враги? Хуже. Народ мутят: «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим!» На это один может быть лозунг – пороть, вешать, стрелять! Пока напрочь не забудут, что такое Советская власть. Всё дворянство, честная интеллигенция поднялись. Драка идёт нешуточная: иного не дано – либо они нас, либо мы. Эти жернова пострашнее интервенции.

И уже засыпая, боднув перед собою головой, сказал:

– С чужого голоса поёте, мадам, а настоящего пения не получается.

И встряхнувшись:

– Извините. На марше. Не спал давно по-человечески.

– Да-да, сейчас, – засуетились хозяева.

Оставшись один, ротмистр скинул френч и блаженно растянулся на кровати. Он видел, как беззвучно покачивались плотные занавески, играли на потолке светлые блики. Слегка кружилась голова, и он закрыл глаза, на миг увидав белые полные руки попадья, и стал привычно думать о прошлом, погружаясь в глубокий и сладкий сон.

Минуло два часа. Жара ещё не спала. Солнце по-прежнему нещадно палило землю. Легко пахнувший ветерок принёс откуда-то чистый и звонкий крик петуха.

Ротмистр Сапрыкин проснулся с необычайной лёгкостью во всём теле. Тихонько шевелились занавески, по потолку по-прежнему скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Застенчивая, скромная чистота деревенской избы, воздух, наполненный благоуханиями сада, и родной, знакомый с детства голос петуха – все эти мельчайшие проявления всесильной жизни радовали сердце, а горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть.

Где-то вверху, на церковном куполе вразнобой ворковали голуби. В саду слышались голоса, смех.

– А что, дед, ежели я этому крикуну головешку скручу, жалко будет?

– Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то курей жалко? Да мы всё отдадим, лишь бы вы Советы сюда не допустили. И то сказать, до каких же пор терпеть это безобразие. Пора бы уж строгий порядок учинить. Вы не обижайтесь на чёрствое слово, но срамотно на вас смотреть.

– Ну, так я попробую, дедок?

– А пробуй, милай, пробуй.

Слышны топот ног и тревожное клохтанье петуха.

Смех и топотня обрываются бабьим возгласом:

– И что же вы удумали! Побойтесь Бога! Вдову, сирот малых обирать. А ты, бес лупоглазый, чего скалишься? Неси своо кочета. Ишь, раздобрился чужим-то.

Снова знакомый голос кавалериста:

– Ужасно глупая птица – петух! Бывало, поспоришь с соседом, чей петя голосистее, у него – так аж прямо заливается, а мой – хоть не проси. А то, как загорланит среди ночи, да норовит под самое ухо посунуться. Нето клевачий попадёт. Ты к нему спиной, а он уже на тебе, норовит в самое темечко, макушечку садануть. Сколько живу на свете – петухов буду ненавидеть. Ишь выступает, паскуда краснохвостая.

– Бойся, паря, – обрадовано сказал кто-то незнакомым баском, – вон он с тылов заходит, стоптать тебя хочет.

– Не-а, для этого дела я ему без надобностей. А клюнет – вмиг башку на бок. Тут уж, тётка, не обижайся, а зови на лапшу.

– А что, мужички, довольно ли барской земли хапнули? Смотри, господин ротмистр у нас строгий, порядок любит – вмиг вместе с душой награбленное вытряхнет.

– «Награбленное»... – передразнил кто-то. – А что ей пустовать что ли, раз барина нет? Кто же вас, защитнички, кормить будет?

– Эх ты как, мужик, рассуждать горазд. Так, ежели хозяина нет, то хватай, кто поспеет. Так что ли?

– Так не так, а так...

– Ну, так ты и к бабе моей подладишься, пока я в седле да далеко.

– Ну, баба не земля, хотя тоже рожать....

Одевшись, и не встретив хозяев, ротмистр вышел в сад.

Ничего не изменилось в природе – палило солнце, кружили голуби над колокольной, и облака, казалось, всё той же формы и в том же беспорядке разбросаны по небосклону. Только стал он чуть серее, чуть прозрачнее, утратив резкость синевы.

– Красота-то какая! – сам себе сказал ротмистр Сапрыкин.

Переговаривались, проходя, мужики:

– ... свежая какая-то часть. Что штаны на них, что гимнастёрки, что шинельки в скатках – всё с иголки, всё блестит. Нарядные, черти, ну, просто женихи.

Заметив офицера, приостановились, внимательно оглядели, поздоровались кивком головы.

Даже кепки не сняли, отметил ротмистр, избаловался народ.

Спор в саду, тем временем, разгорелся ещё жарче.

– А я так понимаю порядок, – убеждал круглолицый, невзрачный мужичок, – вот ты – солдат, должен быть при винтовке, а я, крестьянин – при земле. И когда этому не препятствуют – такая власть по мне....

Умолк, завидев подходящего ротмистра.

Чистейшей воды агитация, подумал Сапрыкин, и в его до самых глубин распахнувшейся ликующему празднику жизни душе занозой угнездились чувства досады.

Говорить он любил и умел. И теперь, собираясь с мыслями, вприщур оглядывал толпившихся в саду селян.

– Мужики-кормильцы, – ротмистр умолк, подыскивая нужное слово, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал, – Смотрите, мужики, какое марево над полями! Видите? Вот таким же туманом чёрное горе висит над народом, который там, в России нашей, под большевиками томится. Это горе люди и ночью спят – не заспят, и днём через это горе белого света не видят. А мы об этом помнить должны всегда – и сейчас, когда на марше идём, и потом, когда схлестнёмся с красной сволочью. И мы всегда помним! Мы на запад идём, и глаза наши на Москву смотрят. Давайте туда и будем глядеть, пока последний комиссар от наших пуль не ляжет в сырую землю. Мы, мужики, отступали, но бились, как полагается. Теперь наступаем, и победа крылами осеняет наши боевые полки. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно... Воины мои такие же хлебоборы, как и вы, о земле, о мирном труде тоскуют. Но рано нам шашки в ножны прятать да в плуги коней впрягать. Рано впрягать!.. Мы не выпустим из рук оружия, пока не наведём должный порядок на Святой Руси-матушке. И теперь мы честным и сильным голосом говорим вам: «Мы идём кончать того, кто поднял руку на нашу любовь и веру, идём кончать Ленина – чтоб он сдох!» Нас били, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре коммуняки на первых порах. Но я, молодой среди вас человек, но старый солдат, четвёртый год в седле, а не под брюхом коня – слава Богу! – и знаю, что живая кость мясом всегда обрастёт. Вырвать бы загнившую с корнем, а там и германцу зубы посчитаем. Вернём Украину и все другие земли, что продали врагам красные. Тяжёлыми шагами пойдём, такими тяжёлыми, что у Советов под ногами земля затрясётся. И вырвем с корнями повсеместно эту мировую язву, смертельную заразу.

Ротмистр умолк, сорвав на самой верхней ноте голос, откашлялся в кулак и сказал тихо, проникновенно:

– И вы, мужики, услышите нашу поступь... И до вашей деревни долетит гром победы...

Слушали его с усиленным вниманием – кто с интересом, кто недоверчиво, кто угрюмо.

И это не ускользнуло от острого взгляда ротмистра Сапрыкина.

– Так ить, кому что, а шелудивому баня, господин офицер, – раздался голос из толпы. –

Вы насчёт земли скажите – чья она теперь...

– А вам что, красные землю посулили?

– Так ить, не только посулили, а и раздали...

– Ты что, сволочь, тоже красный? – глаз ротмистра зловеще задёргался.

Он шагнул вперёд и остановился перед худо одетым, но ладным из себя мужиком с копной огненно-рыжих волос и пронзительными, дикого вида глазами.

– Чей?

– Баландин... Василий... Петров сын...

– Ты что это, Василий Баландин, агитацию здесь разводишь? Думаешь, я тебя долго убеждать буду? По законам военного времени суну в петлю, как врага Отечества – и вся политика. Уяснил?

Баландин не шевельнулся. Вначале он слушал, медленно краснея, неотступно глядя в синие ротмистровы глаза, блестящие тусклым стальным блеском, а потом отвёл взгляд, и как-то сразу сероватая бледность покрыла его щёки и подбородок, и даже на шелушащихся от загара скулах проступила мертвенная, нехорошая синева. Превозмогая сосущий сердце страх, он с хрипотцой в голосе сказал:

– А мне без земли хуть так петля, хуть этак... Вы ведь, господин хороший, без шашки тоже не ахти какой воин...

– Ну, хватит! – сам себе сказал ротмистр и, оглянувшись, приказал, – Кутейников, быстро в дом за лавкой, а этого... взять!

Вслед за подхорунжим в саду показался отец Александр. Он был взволнован и, говоря, жестикулировал:

– Господин ротмистр, остановитесь, прошу вас! Ради Бога, не берите греха на душу. Какая агитация? У нас в деревне один он такой, с порчиной в голове. Какой он красный, господин ротмистр, скорее Краснёнок, потому что дурак.

Когда два дюжих кавалериста гнули Баландина к лавке, он успел схватить одним безмерно жадным взглядом краешек осеннего солнцем неба, а теперь совсем близко от его щеки колыхались синие стебельки полыни, а дальше, за причудливо сплетенной травой вырисовывались солдатские сапоги.

Он не оправдывался, не рыдал, не просил милости, он лежал, прильнув пепельно-серой щекой к лавке, и отрешённо думал: «Скорей бы убили, что ли...».

Но когда первый удар рванул кожу возле лопатки, он сказал угрожающе и хрипло:

– Но-но, вы полегче... плётками машите.

– Что, неужто так больно? – с издевкой спросил подхорунжий. – Терпеть-то нельзя?

– Не больно, а щекотно, а я с детства щекотки боюсь, потому и не вытерпливаю, – сквозь стиснутые зубы процедил Баландин, крутя головой, пытаясь о плечо стереть катившуюся по щеке слезу.

– Терпи, мужик, умом набирайся, – подхорунжий смотрел в гримасничающее лицо с явным удовольствием и к тому же ещё улыбался мягко и беззлобно.

– Да уж не от тебя ли учиться, ирод?

Но тут офицер сказал что-то коротко и властно, и удары кавалеристских плёток дружно зачастили, будто злым ненасытным пламенем лизали беззащитное тело, добираясь до самых костей.

– Сука ты, плешивая! Чёрт лысый, поганый! Что же ты делаешь, паразит! – надрывая глотку, ругался Василий Баландин, – Ох!.. Попадётся вы мне под весёлую руку. Ох!.. Не дам я вам сразу умереть.

Он чувствовал, что быстро слабеет от истошного крика, но не мог молчать под сильными и частыми ударами.

– Не желаю быть под белыми!.. К чёртовой матери!.. Господи, Боже мой, как мне больно!..

Он ещё что-то кричал, уже несвязное, бредовое, звал матушку, плакал и скрипел зубами, как в тёмную воду, погружаясь в беспмятство.

– Кончился Илья Муромец! – хрипло произнёс Кутейников и, опустив плётку, повернулся к ротмистру.

Тот никак не мог оправиться от охватившего его волнения: щёку подёргивал нервный тик, руки, опущенные вдоль туловища, дрожали. Всеми силами старался он подавить волнение, скрыть дрожь, но это плохо ему удавалось. На лбу мелким бисером выступила испарина. Боясь, что голос его подведёт, махнул подхорунжему рукой.

Очнулся Баландин от толчков и дикой боли, огнём разливавшейся по всему телу. Он с хрипом вздохнул, удушливо закашлялся – и словно со стороны услышал свой тихий, захлёбывающийся кашель и глубокий, исходящий из самого нутра стон.

Он слегка пошевелился, удесятерив этим слабым движением жгучую боль, и только тогда до его помраченного сознания дошло, что он жив. Уже боясь шевельнуться, спиной, грудью, животом ощущал, что рубаха обильно напитана кровью и тяжело липнет к телу.

Снова кто-то толкал и тербил его. Василий подавил готовый сорваться с губ стон. С усилием размежил веки и сквозь слёзную пелену увидел близко крючковатый нос и лысину подхорунжего. Кутейников освобождал его руки от пут, заметив устремлённый на него взгляд, сочувственно похлопал Баландина по локтю.

– Та-а-ак, – протяжно сказал он, – Отделали мужика на совесть. Околечили малость, вот сволочи, а?

Василий раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряжённо вытягивая шею, подёргивая головой. Заросший мелким рыжим волосом кадык его редко и крупно вздрагивал, неясные хриплые звуки бились и клочкотали в горле.

Оцепенение с толпы спало. Василия Баландина окружили мужики, помогли подняться, сунули к распухшим губам ковш воды. Он глотал её мелкими судорожными глотками, и уже после того как ковш убрали, он ещё два глотнул впустую, как сосунок, оторванный от материнской груди.

Ротмистр дал команду седлать коней. Он чувствовал то головокружительно неустойчивое состояние души, при котором был способен на любое крайнее решение – либо перепороть всю деревню, либо повалиться в ноги мужикам, вымалить прощение.

Отъезжали молча, не прощаясь.

За спиной приглушённо напутствовали:

– Защитнички... мать вашу... чтоб в конце могилой стала вам путь-дороженька.

Из под копыт лошадей за клубилась серая пыль. Солнце закрыла продолговатая туча, потянул ветерок, стало прохладнее.

Колчаковщина

*Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно,
если бы борьба предпринималась только под
условием непогрешимо благоприятных шансов.
(К. Маркс)*

Хмурым февральским вечером 1919 года в Табыньшу въехал конно-санный казачий отряд. Копыта гулко отбивали дробь, полозья пронзительно визжали слежавшимся снегом. Расположились в центре у коновязи, выставили охрану и по двое, по трое двинулись в обход по избам.

Вошли с мороза в тепло Кутеповской избышки, торопливо и сильно хлопнув дверью так, что где-то под матицей ухнуло, и к спёртому воздуху жилья подмешался тонкий запах трухлявой древесной пыли. Огляделись в неярком свете керосиновой лампы.

Ладная собой, но в рваной, лёгкой одежонке девушка испуганно подскочила из-за стола, широко раскрытыми глазами молча озираала казаков. Один из вошедших был могуч – грудь дугой, подпёрта животом. Другой – мрачноватый и раздражительный, с длинным морщинистым лицом, на выпиравших скулах синели оспины.

– Добрый вечер, хозяйева, – рявкнул он. – Мужики в доме есть?

В углу что-то зашуршало, выпрыгнул чёрный котёнок. На русской печи шевельнулась чёрная занавеска. Выделяясь белым лицом, на пол сползла старуха в подшитых валенках под длинной ситцевой юбкой. Глаза прищурены, платок сполз, из волос выпала на плечо гребёнка, и седая прядь повисла вдоль шеи. Старуха как-то осторожно дышала.

Не дожидаясь ответа, мрачный казак оборотился к вешалке, потом, приподняв занавеску, заглянул на печь, повертел головой туда-сюда, оглянулся на товарища и недоумённо пожал плечами.

Тот подступился с расспросами:

– Вдвоём что ль живёте, мать?

Старуха уже прошествовала через избу, отёрла девушку в угол и села на лавку, выложив на столе сухие желтоватые руки.

– Вдвоём... С внучкой Фенечкой, – шепелявый голос её был похож на сдержанный смешок, и глаза светились покоем и любопытством человека, у которого даже разбойник ничего не отымет, потому что ничего и нет.

– Внучка не обижая? – оглаживая девушку прилипчивым взглядом, спросил грудастый.

– Слава Богу. Вот ухаживает за мной, – старуха ласково поднесла увядшую слабую руку к густым Фенечкиным волосам.

Ну, пошли... чего тут. Всё ясно, – заторопился мрачный и, шагнув в тёмные сени, оставил открытой дверь.

Холодный воздух волной пошёл понизу. Грудастый, с сожалением взглянув на девушку, вышел.

– Чегой-то они, баб, а? Мужики им понадобились... – голос у Фенечки был грудной, сильный и напевный, в такой тональности мать баюкает ребёнка, иль жена ворчит на любимого супруга.

Старуха Кутепова с малолетства пестовала внучку – сложил голову на японской зять, а дочь в том же году душу отдала, застудившись насмерть. Теперь, когда девка заневестилась, а собственные хвори иссушили тело и болезненно обострили чувство одиночества, бабка безошибочно подмечала любой порыв молодой души и обидой на неблагодарность её питала собственное самолюбие.

– Так ить, война мужиков повыбивала – новых подавай, – недавний сон её будто рукой сняло, и теперь она (Фенечка по опыту знала) будет сидеть в одной позе, чуть раскачиваясь, тараща глаза в полумрак, изредка роняя фразу, будто подводя итог долгим умозаключениям.

– Вот и Федьку тваво заберут, – спустя некоторое время, выговорила она.

– Федьку? – Фенечка опустила на колени вязание, – Федьку? Так ему, поди, ж рано ещё. А, баб?

Но старуха не горазда была на скорые ответы. Девушка взглянула на неё раз, другой, заёрзала на лавке, запоглядывала на окно и вдруг, бросив на стол клубок со спицами, сорвалась к печи, сверкнула крепкими икрами, доставая валенки и шубейку.

– Баб, я щас, – зажав в руке платок, выскочила из избы.

Их развалюха и крепкое хозяйство Агарковых примыкали задами. Утоптанной в снегу тропкою, мимо колодца на меже, в заднюю калитку с накидным лозовым кольцом на столбике, и вот она уже во дворе, под заледенелым и чуть блестящим от внутреннего света окном. Фенечка ощупью пробралась тёмными сенями, поставленными позднее, вприруб к большому дому (оттого и сохранились высокие ступени, ведущие в избу), потянула дверь за скобу.

Просёдая голова на жилистой шее повернулась к порогу, карие глаза пытливо вглядывались в вошедшую. Глава семьи Кузьма Васильевич Агарков ладил заплату на детский валенок, сильные мозолистые ладони перепачканы дёгтем, и его запах густо наполнял кухню.

– Дядя Кузьма, казаки по избам мужиков ловят, в колчаковщину забирают, – еле переведя дух, выпалила девушка.

Фенечку в этом доме не любили. Кузьма ругал за неё старшего сына последними словами. Федька грозился уйти из дома. Мать, Наталья Тимофеевна, плакала и кляла за «присуху» колдунью Кутепиху. Девчонки жалели Федьку и мать и верили в справедливость отца. Всё это с удовольствием рассказывала четырёхлетняя болтушка Нюша. Фенечку обижало не презрение к её бедности, а неверие в её трудолюбие, хозяйскую сметку.

На её голос в дверях горницы показались девичьи головки – одна, другая, третья... не сочтёшь, мал-мала меньше, глазёнки горят любопытством, губы кривятся усмешками. С печи свесилась чубатая Федькина голова, а следом восьмилетний Антон высунулся из-под руки. После звучных шлепков девчоночьи головы пропали, а из горницы – живот вперёд – утицей выплыла беременная Наталья Агаркова. Быстрый и тревожный взгляд на Фенечку, Федьку, мужа. Тот пожал плечами, нервно покусал губы и сказал:

– Ну-ка, сынок, быстро собирайся... Отсидишься, где пока... Мож в хлеву... От греха.

Федька мигом свесил с печи босые ноги, но, передумав, скрылся за занавеской и, громко пыхтя, лёжа одевался. На пол он прыгнул уже собранный по-уличному, только без шапки, и скрёб пятернёй в затылке, вспоминая, куда её закинул.

Во дворе послышались злобное собачье повизгивание, чужие тяжёлые шаги. Вошли трое и среди них грудастый.

– Ага, готов уже, – схватил он Федьку за ворот полушубка, – Ну, пойдём, пойдём, солдатик.

– И ты здесь, краля, – он повернул голову к Фенечке, – Жениха провожаешь?

Пьяно подмигнул, будто приглашая её за собой в тёмные сени. И Фенечка пошла, и лишь дверь заслонила свет избы, попала в тяжёлые объятия казака. Мокрый рот впился в её губы. От усов пахло табаком, луком и ещё чем-то противным, отчего у девушки перехватило дыхание.

Федька, почуяв свободу, выскользнул во двор и через распахнутую калитку – на огород.

Казак, не сразу сообразив, оттолкнул девицу и, набычившись, ринулся на мороз. Резко грохнул выстрел, зашуршав, ухнул снег с крыши. Через минуту, остервенело ругаясь и отряхиваясь на ходу, в избу мимо сжавшейся в тёмном углу Фенечки протопал грудастый.

Кузьма, загородясь рукой, пытался от не прошенных гостей:

– Меня и в германскую не брали... многодетный я. На кого оставлю?

И Наталья вторила ему, заслонив собой вход в горницу:

– Какой он солдат? Большой весь. И как я одна с такой оравой?

Казачи хмуро подступали:

– Наше дело телячье. Там разберутся. Разберутся и можа отпустят.

Грудастый, ворвавшись, растолкал товарищей и ударом кулака сшиб Кузьму на пол.

– Да чего вы тут сопли развесили? Вяжи его. Тот убёг, сучонок. Ну, Бог даст, недалеко.

Падая, Кузьма сбил подвешенную лампу, и она, пыхнув голубоватым пламенем, потухла, погрузив избу в темноту. На полу, пыхтя и ругаясь, возились мужчины, в горнице плакали девчонки, голосила Наталья. И слыша, что Кузьму волокут к дверям, крикнула:

– Хоть одеться дайте человеку, ироды-ы!

Мужиков увезли в ночь. А на утро пришёл слухок, что в петровской церкви будет молебен, а потом общая отправка на фронт.

Управившись по хозяйству, Наталья засобиралась в дорогу. Контуженый австриец Иоганн Штольц заложил в ходок Меренка. День по всем приметам обещался быть погожим.

Когда выезжали, туманом крылся горизонт, а в Петровке были – солнце круто ползло в зенит, умудряясь и в добрый мороз давить с крыш сосули. Над церковным куполом галочий грай, а перед ней на площади толпится народ.

Да где же мой-то, потеряно думала Наталья, встречая знакомые и незнакомые лица. И увидала. В чёрной овчине – укороченном тулупе, в собачей шапке стоял её Кузьма Васильевич, лицо бледное, узкое, по щекам вниз две длинные морщины, а серые глаза печальны и растеряны.

Обнялись, трижды накрест расцеловались.

«Бабы... – думал Кузьма, вглядываясь в дорогие черты Натальино лица. – В сердце каждой скребутся заботы о доме, о своих мужиках, детях, скотине. И какая из потерь горше, кто знает? С бедой, говорят, нужно ночь переспать, а там отхлынет».

– Федька-то? – переспросила Наталья и махнула рукой куда-то в сторону, – Убёг... И мне не кажется.

– Ты, мать, сильно-то не надрывайся. Нажили хозяйство и ещё наживём, было бы здоровье. Детей береги, а пуще этого, – он коснулся ладонью её выпирающего живота. – Мальчишка будет – кормилец твой до самой смерти.

Разговор не слагался, и затянувшееся прощание становилось в тягость.

В соседнем дворе ладная бабёнка шустро управлялась по хозяйству, то и дело оголяя белые икры. Она вылила из бадьи тёмную, исходящую паром бурду. Два поросёнка, оттирая друг друга, тыкались носами в корыто, громко чавкая, вокруг суетливо вертелись куры.

Проследив мужнин взгляд, Наталья ревниво дёрнула его за рукав:

– Ты что, поросят никогда не видывал?

Кузьма грустно усмехнулся своим мыслям.

Кликнули сбор, заголосили бабы. И от белой церковной стены покатила судьба Кузьму Агаркова навстречу войне.

В челябинских казармах новобранцев сводили в баню, переделали в солдатское обмундирование. Потом пошла муштра. День за днём, в мороз ли, в пургу, гоняли их по плацу – учили ходить строем, петь хором, стрелять из винтовки, колоть штыком.

Вечерами, лёжа на хрустящем соломой тюфяке, Кузьма вспоминал Натальино постельное бельё, которое стирала она в корыте, на ребристой доске, раскатывала рубелем, намотав на большую скалку, и отглаживала утюгом, разогретым древесным углём, и, когда стелила потом, обычно после баньки, оно хрустело, пахло летним садом или свежестью изморози.

С женой ему бесспорно повезло. Когда двадцати с небольшим годов выходил на самостоятельную дорогу, брал её, как кота в мешке, по одной приглядке да с чужих слов, что «работя-

щая и негулящая». И приятно был удивлён, увидев, как безропотно, без понуканий впряглась она в тяжёлый воз быстрорастущего хозяйства.

Начинали, как говорится, ни кола, ни двора. И вот уже красуется на всю деревню большой дом, как игрушка. К нему – три амбара с хлебом, двенадцать лошадей и прочая всякая крестьянская живность и утварь. Меж трудов родили десятерых детей. Старший – Федька – в хозяйских делах уже полный мужик, и девчонки сызмальства к труду приучены.

В пятнадцатом году пристал к семейству Агарковых пленный австрияк Ванька Штольц, контуженный на фронте, не помнящий ни родства, ни Родины. В делах нетороплив, но силен и вынослив, как бык.

Крестьянский труд тяжёлый, а глаза у Кузьмы Агаркова завидующие. Своей земли мало, так присмотрел до двадцати десятин у казаков за двадцать с лишним вёрст. В страду вставляли с первыми петухами и, громыхая телегами по спящей деревне, отправлялись на арендованный клин. До полудня жали, вязали снопы и, нагрузив возы, отправлялись домой. И так изо дня в день, изо дня в день. Каторжный труд! Тяжело будет Наталье одной.

Кузьма ворочался, вздыхал, невесёлые думы переполняли голову.

Как странно устроен мир – дома дел невпроворот, и вроде бы все срочные, боишься истратить лишний час на что-нибудь, но едва уезжаешь куда-нибудь, как всё отодвигается, теряет свою значимость, а, вернувшись, обнаруживаешь, что ничего особенного не произошло, неотложное спокойно ждало его возвращения.

С этим, успокоенный, и засыпал.

Казарменная жизнь оборвалась неожиданно. Запахнули новобранцев в теплушки и повезли на запад, на фронт. Проехали горы, поезд несся по равнине, отстукивая вёрсты и время. Иногда обрушивался встречный грохот, и снова возвращался привычный, казавшийся тихим, перестук под вагоном. Потеряли счёт вокзалам.

Высадились ночью на безлюдном полустанке, сразу же в сани и обозом через лес. Он сжимал дорогу с двух сторон – тёмный, мягко опущенный снегом, беззвучно падавшим с ветвей от малейшего дуновения. Из сугробов чёрными прутьями торчали промёрзшие до хруста кусты. Мороз крепчал. В чистом чёрном небе дрожал яркий звёздный свет, и большая белая луна в радужных кольцах спокойно плыла над землёй.

Обоз ехал всё дальше и дальше.

За полночь остановились на роздых в мордовском селении. Разбрелись по избам, приказали хозяевам накрыть на стол. Сели вечерять.

Втянув носом воздух из жестяной кружки, Кузьма ощутил мерзкий запах самогона, от которого дёрнулся кадык, и с отвращением подумал, как трудно будет одолеть это пойло.

– Пей, пей, не косороться, – сипло сказал солдат, нарезая сало большими ломтями и складывая их в центр стола, где уже лежали кучкой маленькие луковицы и длинные, пустые внутри солёные огурцы, варёные яйца.

Все остальные новобранцы, торопливо жуя, с нетерпением смотрели на единственную кружку незатейливого застолья. Хозяева попрятались по своим норам. Разморенные усталостью, теплом, едой и выпивкой, солдаты, неторопясь, вполголоса вели беседу.

– Был бы кто свой здесь, убёг бы сейчас, не задумываясь, – говорил сиплый, выпуская изо рта густые клубы табачного дыма и втягивая их носом.

– А я так думаю, – встрял подхмелевший Кузьма, – фронт на восток катится, буду отступать до родных мест, а там и дам дёру.

Хмель, согрел тело, закружил голову. Поглядывая на товарищей, Кузьма чувствовал, как всё больше ему нравятся эти прямодушные мужики, толковые в словах, и крепко, по всему видать, любящие своё крестьянское житьё.

Проснулись засветло. Но не от ярких солнечных лучей, ломящихся в низенькие окна, а от дружной пулемётно-винтовочной пальбы и канонады. За ночь красные окружили село со всех сторон, выкатили на пригорок пушки и теперь прямой наводкой палили по избам.

Наспех одевшись, выскакивали на мороз. Кузьма на мгновение замер у калитки, прикидывая, где укрыться от дружного посвиста пуль. Беззвучный всплеск короткого белого пламени резанул глаза, что-то с треском хлестануло по воротам, плетню, дробным стуком ударило в бок и швырнуло Кузьму наземь. Вслед обрушился на мир грохот разрыва.

Агарков попытался освободить нелепо подвёрнутую и придавленную телом руку, но конечности уже не слушались его. Он хотел закричать, но голос его сорвался, забулькал в горле и захлебнулся чем-то вязким и солёным. Спустя несколько мгновений чёрная тень навсегда заслонила белый свет от Кузьмова взора.

Отступать до Табыньши оставалось новобранцу Агаркову без малого тысячу вёрст.

Дезертир

*Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе.
Лишь бездарный покоряется судьбе.
(А. Кунанбаев)*

Лунная серебристая ночь окутывала дремой Табыньшу. Избы, вытянувшиеся вдоль берега уснувшего подо льдом озера, глубоко зарылись в снежные сугробы. Мороз крепчал. Тишину изредка прерывал сухой треск плетня и неподвижных тополей, могучими корнями уцепившихся за подмытый водами крутояр. В голубом свете смутно вырисовывались горбатые скирды под белыми покрывалами. Затихли по дворам собаки. Нахолодавшие за день и большие, и малые грелись на полатах, лежанках, кроватях под одеялами, тулупами у жарко натопленных печей.

Федька дрог в сырой кутеповской бане. Он сидел на полу близ очага. От грязи и сырости кожа на руках обветрилась, и они мучительно ныли. С низкого прокопченного потолка изредка капало на голову и за шиворот. Огонь в каменке почти совсем догорел. Последние огоньки перебежали по тлеющим в золе красным углям.

Весь мир заснул. Не спал Федька, поджидая Фенечку. Не спала Фенечка, сидела с шитьём и напряжённо смотрела чёрными глазами, как неторопливо отходит ко сну бабка.

Наконец старуха утихла за пёстрой занавеской на печи. Девушка поднялась и, бесшумными кошачьими движениями снуя по избе, засобиравшись на улицу. В старый платок завязала отложенные заранее хлеб, лук, сало. Прислушалась, приставив ухо к самой занавеске, к похрапывающему дыханию на печи и юркнула в сени.

Легко пробежала огородом, нырнула в полумрак бани и бросилась милому на шею:

– Всё боялась, не успею, не застаю тебя. Ну, зачем ты уходишь? Остаься, казаки ведь уехали.

– Не могу, пойми ты, – волнуясь, Федька стягивал с Фенечки одежду. – Дезертир я теперь. Поймают – сразу шлёпнут. Дома появлюсь, а вдруг кто донесёт, тогда и мамку потянут за укрывательство. Нет, никак нельзя мне в Табыньше оставаться. Пойду в Васильевку, там у нас свои, но меня там не знают. Прикинусь батраком контуженным, как Ванька Штольц, глядишь, и пережду лихое время. Ты и мамке так обскажи.

Ласкал её в последний раз, всё более распаяясь.

– Война кругом идёт, – рассуждала Фенечка, едва переводя дыхание от бесконечных поцелуев, – На дорогах казачьи разъезды. Люди там чужие, может злые. Как встретят? Не ходи, Федь.

Её лицо всегда весёлое, с ямочками на щеках за эти несколько тревожных дней и бессонных ночей побледнело, осунулось, под глазами легла синева. Ещё бы! Сколько было радостных разговоров о будущей общей жизни, своём доме, хозяйстве! А теперь из-за этой проклятой войны, страшных казаков все мечты разлетаются, как испуганные птицы...

А вдруг Федька не вернётся? Что тогда с ней будет?

Федька чувствовал, как немеет рука под Фенечиной головой, но долго не решался шевельнуться. Он выжидал, оттягивал минуту расставания, с нежностью вглядываясь в её лицо в неверном свете луны. Наконец соскользнул с полка и, осторожно ступая, собрался в дорогу. Он был готов идти, когда услышал её шёпот:

– Провожу тебя за околицу.

Ночь потемнела. На небе мерцали редкие звёзды. Где-то завывла собака, другая ответила ей. Тяжёлое предчувствие сдавило Фенечке сердце.

Остановились.

Хмурый, сдвинув брови, вглядывался Фёдка в сизую туманную даль, где чернели голые берёзовые рощи. Низкие, редкие серые тучки медленно плыли над пустынной землёй, разгоняя над сугробами лунную тень. За полями, за рощами лес сбивался в сплошной массив и тянулся далеко на юг, как говорили мужики, до самого Троицка-города. Сквозь эти чаши зимой можно ходить только звериными тропами, зная приметы и заговоры. Этими путями ходят и лесные чудища, лешие да кикиморы.

Фёдка поцеловал в последний раз Фенечку:

– Передай матушке мой низкий поклон. Чести, скажи, своей не обмарая и на Колчака служить не пойду. А буду я в Васильевке, у крёстного её, дядьки Ивана Назарова. Запомнишь?

И резко повернувшись, пошёл целиком, через засыпанное снегом поле.

Фёдка шёл на закат. Наверное, это была его ошибка, что не выбрал сразу накатанный путь, пошёл глухоманью, опасаясь встречи с казаками. Леса кругом стояли непролазные, густые, поляны похожи одна на другую. Снегу было по колено, а то и по пояс.

Остаток ночи растворился, новый день клонился к закату – жильём и не пахло. По его расчётам где-то за спиной остались и Васильевка, и Мордвиновка, но он шёл вперёд, боясь свернуть и заблудиться.

Вот и закат догорел. Фёдка совсем потерял направление и брёл из последних сил, повинаясь одному лишь желанию – идти там, где легче. Думы безрадостные, порой нелепые осаждали голову.

Он представлял себя нищим – искателем правды. Вот он ходит по дворам и неторопливыми умными речами раскрывает людям глаза на житьё-бытьё, и кормится чужой милостью. Нет у него большого дома с отцом, матерью, нет брата и сестёр – всё улетело, как подхваченный ветром пучок соломы.

Вскоре наступила ночь и всё затянула густой паутиной. Багровая луна стала медленно подниматься из-за деревьев. Тихо в дремучем зимнем лесу. Лишь изредка – треск мороза в стволах да шорох упавшей с ветки снежной шапки. Жуткий страх схватил за горло Фёдкину душу. Где, под каким кустом окончится его жизненный путь? У какой берёзы найдут по лету грибники его бездыханное тело? Или, быть может, волки растащат по косточкам?

Мороз гнал из тела усталость, и Фёдка всё шёл и шёл вперёд, теряя счёт времени и вёрстам. И вдруг...

На глухой лесной полянке среди наваленного грудями хвороста поблёскивал небольшой костёр. Два мужских голоса задушевно выводили «Лучину».

В паузе кто-то сердито проворчал:

– Распелись не к добру.

– Чем песня плоха?

– Ну, как услышат.

– Кто ж сюда доберётся – в глушь да лихомань?

– Всё одно – какое нынче пение....

– А почему не петь?

– У меня вон в брюхе с голоду поёт, – не уступал сердитый молодой голос.

– Ишь ты, – у костра засмеялись, – шти про тебя ещё не сварены.

– Ничего, – покрыл всех спокойный бас, – Как закипит вода, муки сыпанём – болтушки похлебаем. Жаль только соли нет.

– Да и муки-то последняя горсть....

Разговоры разом оборвались, когда Фёдка вышел на свет костра. Вокруг него сидели четыре молодца – из тех, кому ни мороз, ни снег, ни метель-пурга, ни ведьмино заклятье – всё нипочём. На жару в глиняном горшке готовили похлёбку, а теперь рассматривали подошедшего невесть откуда парня. Фёдка – роста вышесреднего, статный и широкоплечий, со спокойным видом и прямым взглядом стоял перед ними.

Молодой голос хмыкнул:

– Вот и мяско подвалило.

Высокий и тощий, строго зыркнув на приятеля, знакомым уже баском спросил:

– Из далёка будешь?

– Из Табыньши. Не найдётся ли у вас, люди добрые, места у огня? Замороженный я.

– В таком лесу – плёвое дело, – согласился другой, низкий и круглый, жмуря красные слезящиеся глаза.

– Мне бы поесть чего...

– Ладно. Садись к костру. Может и для тебя чего найдётся.

Федька подсел к огню, где на жару шипел закоптелый глиняный горшок.

– Чего варим?

– Али не видишь?

Представились.

Новые знакомцы назывались чудными какими-то именами-кличками. Басовитый сказался Попом, толстяк – Душегубом, молодой верзила – Мальком. Все по виду и разговору – городские. И лишь четвёртый, угрюмого вида, заросший волосами по самые глаза, деревенского склада мужик – Иваном Тимофеичем.

В разговорах не таились, и вскоре Федька к страху своему убедился, что перед ним не самые добрые люди, которых можно встретить ночью в такой глухомани. Но отступить было поздно, да и некуда. И чтобы уравняться с ними в грехах перед законом, рассказал о себе.

– Ну, Агарыч, видать, с нами тебе дорога, – участливо покачал головой Поп.

Мороз усиливался, лёгкая снежная пыль закуржавилась над землёй и засыпала сидящих. Федька протянул озябшие ладони к огню и немигающими глазами смотрел на перебегающие по сухим сучьям языки костра. В лесу было тихо, и можно не спеша вести беседу.

Поп неторопливым баском своим уговаривал товарищей податься в Челябину, где и затеряться проще в толпе и сытней, должно быть, жить вёрткому человеку. Впрочем, ему никто не возражал, только мрачный Иван Тимофеич всё отрицательно иль осудительно покачивал головой, но молчал.

Прошла половина ночи.

Усталость брала своё. Глаза у Федьки начали слипаться, незаметно подкрадывался сон. Полная яркая луна светила с беззвёздного неба. Быстро плыли облака. Словно зацепившись за острый край, они закрывали её на мгновение и летели снова дальше.

Иван Тимофеич озабоченно покачал головой:

– Скоро пурга будет.

– Метель поднимется, – подтвердил Душегуб.

– Пурга нам на руку, – сказал Поп. – В деревне-то нас и не приметят.

И поднял на Федьку пытливый взгляд:

– С нами пойдёшь или здесь заночуешь? Хотя мы, может, и не вернёмся сюда снова.

Федька Агарков по разговорам бродяг понял, что замышляют они какое-то тёмное дельце, ему было до слабости страшно, но он всё-таки решительно сказал:

– С вами пойду.

– А топор в руках держать умеешь иль у мамки под юбкой рос? – с насмешкой спросил Малёк, разминая затёкшие ноги вокруг костра.

Облака закрывали луну, и лес тогда сразу погружался в сумрак. Бродяги гуськом медленно продвигались вперёд, держась ближе друг к другу, ступая след в след. Шли, по колено проваливаясь в слабонастный снег.

Пурга разыгралась внезапно. Лес вдали начал гудеть, посыпался снег с верхушек деревьев. Ветер принёсся с пронзительным свистом, подхватывал и уносил вороха снега и снова

подкидывал. Вскоре отовсюду уже слышался непрерывный гул, скрип, треск ломающихся веток, и порой – грохот падающих стволов.

– Не отстава – ай! – кричал Поп.

Идти становилось всё труднее. Колючий снег бил и обжигал лицо. Ветер захватывал дыхание.

– Эй, Малёк!.. Агарыч!.. Не отставай! – глухо доносились перекликающиеся голоса.

Бродяги шли долго, упорно пробиваясь сквозь бурю, боясь отстать. Знали, что гибель ждёт того, кто затеряется в дремучем лесу.

Наконец передовой Иван Тимофеич сказал:

– А теперь – тихо: Перевесное рядом.

Перевесное? Так вот он где заплутал, думал Федька. В сторону упорол от Васильевки-то....

Бродяги остановились на опушке леса, напряжённо всматриваясь. Впереди копнами чернели избы, повеяло жилым духом. Поп, притушив бас, отдавал приказания. Бродяги внимательно слушали его, кивая головами, потом стали крадучись пробираться к огородам.

Федьку оставили у плетня, наказав дать знак в случае чего. У него от страха и возбуждения тряслись руки, и, оставшись один, он готов был бежать в ближайший дом поднять хозяев, остановить святотатство, но не побежал, а с нетерпением поджидал бродяг, волнуясь за их успех. Азарт риска гнал холод, и Федька терпеливо томился у плетня, вращая в сугроб.

Появились бродяги, тяжело дыша. На спине у Малька громоздилась овечья туша, широко раскачивая надрезанной головой, оставляя за собой кровавый след.

– Скорее в лес! – хрипел Поп. – Уносим ноги, пока всё спокойно. Скорей, соколики, скорей!

Вьюга усиливалась. Метель непрерывно заметала следы снегом. В её тягучем завывании порой чудился, накатываясь сзади, собачий лай. Бродяги спешили уйти подальше от Перевесного, и с ними вместе Федька Агарков, у которого ещё кружилась голова от сосущего душу страха за совершённое преступление, но уже родилось и постепенно крепло «будь, что будет», и он уже не боялся запачкаться в крови, неся баранью тушу, когда наступала тому очередь.

Буря бушевала трое суток, не переставая. Ветер то вдруг утихал, беря передышку, то вновь усиливался, гудел в вершинах деревьев, в проводах столбов вдоль дорог, наносил вороха лёгкого снега и, точно передумав, снова сдувал нагромождённые сугробы, перебрасывал их, наметая в других местах пушистые холмы. Сплошное белое покрывало задёрнуло начавшие было чернеть впродверье весны поля с низкими кустарниками.

Всё живое попряталось, спасаясь от разгулявшейся стихии. Горе бездомному человеку! Не приведи Господь, очутится об эту пору без тепла и крыши над головой. Немало по весне откроется из-под снега замёрзших одиноких путников – «подснежников».

Но Федьке с товарищами повезло – в тот самый час, когда пурга утихла совсем, входили они на окраину Челябинска.

Вольготная городская жизнь для Федьки Агаркова была недолгой – на вокзале в облаве потерял своих друзей, а сам угодил в «каталажку». Допрашивал его следователь, аккуратный такой, чиновного вида человек с большими зальсинами и выпуклым лбом. Несколько недель Советской власти в Челябинске вытрясли из него нестойкие политические убеждения, и он без душевной борьбы и сомнений принял нейтралитет, готов был предложить свои услуги любому режиму.

Знаток дела считал себя не зря. И, ловя убегающий Федькин взгляд, слушая его сбивающуюся речь, думал: «Врёт, каналья, всё врёт, от первого слова до последнего. Да ну я сейчас его достану».

– Всё-всё так, я верю, готов поверить, но бездоказательно, – следователь поднялся из-за стола, прошёл по комнате, достал из массивного тёмного шкафа пухлую папку подшитых

бумаг, – А вот послушай, парень, теперь гольную правду о себе – мы-то всё знаем, и записано тут....

Он полистал документы чьего-то уголовного дела.

– Фёдор Конев.... Смотри-ка, даже имя не изменил – наглеешь, брат. Кличка – Саван. От роду – девятнадцати лет, роста вышесреднего, глаза голубые, черноволосый, особых примет нет.... Нет, есть – нос сломан в драке и смещён вправо.

Следователь делал вид, что читает это с подшитого в папке листа, на самом деле рисовал Федыкин портрет, насмешливо приглядываясь к нему.

– Вот так-то, братец Саван.... И всё это мне не придётся доказывать. Я только пошлю запрос в твою деревню.... Как ты её назвал? Воздвиженка? И если от тебя откажутся, то трибунал и «вышка» тебе обеспечены.

– Ты только послушай, что за тобою пишется, – он с удовольствием, сохраняя, однако, участливый вид, измывался над растерявшимся Федькой, – Грабеж,... грабёж. Ай-яй-яй! Убийство. Старуху-проценщицу со родственницей топором. Ну, что скажешь, Саван, или как там тебя?..

Когда за Федькой закрылась дверь, следователь не спеша прибрался на столе и, покрутив ручку телефона, связался с гарнизонной тюрьмой.

– Ваш, вашего сада фрукт, – убеждал он кого-то скучным голосом, – Дезертир. Нет не политический – деревня дремучая. У меня на таких нюх.

В тот же день Федыку перевезли в гарнизонную тюрьму и поместили в одиночную камеру.

Первым знакомцем на новом месте был надзиратель Прокопыч – пожилой, неторопливый, вымуштрованный, наверное, ещё в Алесандроские времена. Большой нос с горбинкою придавал хищное выражение его худому, костлявому лицу. Из-под нависших густых бровей смотрели мрачные, тёмные, глубоко сидящие глаза. Он часто проводил по густой, чёрной с проседью бороде узловатой сухой рукой.

Прокопыч дважды в день приносил Федыке еду и, усаживаясь на единственном в помещении табурете, подолгу беседовал с арестантом.

– Привезли тебя, паря, с почестью на санях-розвальнях, крытых коврами, на тройке с бубенцами, а шлёпнут тихо и похоронят без музыки. Может даже и без суда-трибунала, потому что дезертир ты, и для таких закон суровый.

Федыка в общей камере уголовной тюрьмы кое-чему нахватался у блатных и, похлебав баланды, скрестя ноги, сидел на нарах, посвистывал и усмехался.

– Нет, дядя, я удачливый. Помилуют. А не захотят, так сбегу. К тебе приду.... в примачи. Нет ли у тебя, дядя, дочки-красы? Я бы запросто женился.

– Что-то, сынок, лицо мне твоё больно знакомо, будто напоминает кого, – с каждым днём всё больше жалел Федыку надзиратель.

И тот рассказал о себе всё без утайки, распахнул страдающую душу до самых глубин.

– Есть у меня знакомцы в твоих краях. Я вот мамке твоей весточку подам – может, и дождёшься, – пообещал Прокопыч.

Суд и расстрел к Федыке не спешили. За узким зарешёченным окном, недостижимо светившемся под самым потолком, жизнь, между тем, шла безостановочно. День сменялся ночью и наоборот.

Однажды в сумерках поднялся ветер, и повалил густой снег. Завыла метель, задрезжали жалобно стёкла. А потом переменявшийся ветер повеял теплом. Остаток ночи и всё утро, не переставая, шёл сильный дождь, неся скорый конец снегам. Наступившая внезапно ростепель затопила мир грязью.

Об эту пору в Челябинск добралась Наталья Тимофеевна. Срок беременности её был на исходе, она рисковала разродиться где-нибудь в дороге, но желание видеть сына, утешить и, может быть, помочь было всеильным.

Однако решимости и воли её едва хватило до первого тюремного начальства. Когда Прокопыч сообщил ей Федыкину вину и возможную расплату за неё, она, вдруг утратив остатки прежней гордости, тяжело повалилась на колени, тыкаясь губами в чужие шершавые ладони, суя надзирателю собранный для Федыки узелок.

Прокопыч остолбенело попятился от неё, пряча руки за спину:

– Что ты, баба! Тьфу, окаянная! Вертайся домой и не надейся ни на что. Нашла царя-батюшку, деревня сермяжная...

Федька на свидании от неожиданности растерялся и долго не мог унять слёз. Обрадовался сапогам и тут же переобулся, отдал матери валенки и полушубок. Наталья Тимофеевна сидела, широко расставив ноги, спустив на плечи платок, говорила, горестно глядя на сына:

– Дома всё хорошо. Нормально. Живы и здоровы, слава Богу. Только вот тятюку вашего убили на фронте. Вдовая я, а вы теперь – сироты.

Наталья Тимофеевна уехала с тяжёлым сердцем, ничего не добившись. А дружба Федыки с надзирателем крепла день ото дня.

– Прут красные. В городе отступающих полно, большинство – раненые, – сообщал Прокопыч новости.

А однажды обнадѣжил и посоветовал:

– В тюрьме начальство сменилось. Смотри, Фѣдор, ушами не хлопай. Если спросят, чего, мол, тут околачиваешься, скажи – был призван в армию, но заражѣн дурной болезнью, по этой причине ссусь, мол, без удержу под себя хожу. В казарме был бит, обмундирование не дали, а посадили в тюрьму. А я поддакну, доведѣтся случай, мол, вонизм от тебя в камере – не приведи Господь.

Спасибо старику – надоумил, выручил! Из тюрьмы Федыку выгнали.

Не попрощавшись, он в тот же день ушѣл из города дорогою в сторону дома.

Солнце, ослепительное и горячее, раскрыло свои бирюзовые ворота и радостно смотрело с небес. Его лучи добрались и до лесных чащ, безжалостно растопляя снега. Прилетели птицы дружными стаями, засвистели, перекликаясь, загомонили, захлопотали с гнѣздами, и не до песен теперь стало. Лишь кукушки-бездельницы щедро обещали долгую жизнь.

Федька за год подрос, сапоги стали малы и сбили ноги. Брѣл он, прихрамывая, опираясь на палку, похудевший с лица, но по-прежнему – коренастый, крепкий, голубоглазый.

Душа на крыльях летела впереди. Фенечка! Вспоминались её ласковая улыбка и грустные речи при прощании, мелкие веснушки на лице, красивый рот.

Федька шѣл, не таясь, заходил в каждое придорожное селение, стучался в каждые ворота, просил милостыню. Где давали, где гнали. Федька всему радовался, за всё благодарил. Свобода!

Как-то на исходе дня повстречались два всадника. Меж ними плѣлся арестованный, без кепки, со связанными за спиной руками. Тѣмные волосы сбились, лицо кривилось от боли. Он с трудом волочил ноги. Казаки свернули с дороги и остановились у колодца.

Федька, заложив руки за пояс, подошѣл к арестованному и долго внимательно всматривался в него. Высокий худой парень в холстяных крестьянских портах, в изодранной рубахе и босой стоял равнодушный и окаменелый, с посиневшим и распухшим от побоев лицом и облизывал гноившуюся в уголке рта рану. Только на миг метнул он внимательный взгляд на Агаркова и опять уставился в одну точку.

Будто ушатом холодной воды окатило Федыку. К нему вернулись прежние страхи. Он сошѣл с большака и лесами напрямки двинулся в Табыншу.

В темноте набрѣл на заимку, таясь от собак, пробрался на сеновал и уснул, зарывшись в прошлогоднюю пахнущую ароматной полынью траву. Проснулся, когда солнце уже рвалось во все щели.

На дворе хозяин собирался в дорогу. Обтёр лошаде́нку пучком соломы, положил на её костлявый хребёт кусок войлока – потник, старательно приладил старое седло и перекинул ремень. Кляча подогнула заднюю ногу и, оглядываясь, пыталась укусить старика за плечо, когда тот затягивал подпругой её раздувшееся брюхо. Потом распутал её передние ноги, вскарабкался в седло и степенно выехал со двора.

Его хозяйка, суетливая старушка, тем временем развешивала на верёвке во дворе раскатанные на лапшу блины теста. Их вид разбудил у Федьки нестерпимый голод.

Пока он размышлял – спросить или украсть, шёпот и приглушённый говор за стеной сеновала насторожили его. Он выглянул в щель. У плетня среди лопухов и полыни три человека в отрепьях, с распухшими, в болячках и грязными лицами, подкрадывались к привязанному за столбик телёнку.

По характерным признакам Федька признал в них цыган. Вот сволочи! Что замышляют?

Привязь уже в их руках. Пёстренький недельный телёнок, то упираясь, то обгоняя похитителей, скрылся с ними в лесу.

Федька выбрался из сеновала и пустился вслед за цыганами. Наткнулся на них неожиданно. Те первыми увидели преследователя.

– Не подходи, тварь! – закричал кривой на один глаз цыган, выступая вперёд, держа перед собой окровавленный нож.

Телок уже лежал на спине, широко раскинув лишённые шкуры красные ноги. Бродяги в несколько рук, торопясь, обдирали его. Все были невзрачны и худосочны.

Справлюсь, подумал Федька, отыскивая взглядом палку поувесистей.

– А вы кто?

– Телёнка не вернуть, хозяин, бери себе голову.

Ему бросили в руки отрезанную телячью голову и в тот же миг сбили с ног. Три жилистых мужичонка навалились ему на грудь, ноги. Жёсткие ладони царапали лицо, сдавили нос, пальцы крепко сжимали рот, не давая вздохнуть. Федька забился, стараясь вывернуться, но в горло ему упёрся окровавленный нож.

С него сорвали одежду.

– Лежи, не дёргайся, – кривой натягивал, пристукивая каблуком, Федькины сапоги.

Бродяги поделили добытую одежду, ему бросили изодранные, провонявшие нечистым телом галифе и гимнастёрку. Вскоре они скрылись.

Федька слышал топот удалявшихся ног, лежал неподвижно, уткнувшись в ладони. Обида и пережитый страх сотрясали плачем его тело.

На заимку Федька не вернулся, обойдя её стороной.

К исходу второго дня набрёл на кинутый хутор – ветхие избёнки и землянки на берегу небольшого озера. Вокруг густо росли кусты малины и вишни. Жители покидали хутор в спешке – живности и съестного Федька не нашёл, но инвентарь лежал нетронутым на своих обычных местах.

В одной избушке наткнулся на живого ещё, оставленного близкими умирать, недвижимого старика. Он лежал на деревянной кровати, прикрытый лишь куском овчины. Седые расчёпаные космы разметались по подушке. На впалых щеках, покрытых синими пятнами, пушились клочья бороды. Исхудалые руки безжизненно скрещены на груди, а босые ноги распухли и стали круглыми, как валенки, и очень скверно пахли.

На столе у кровати стоял ковш с осевшей на сухое дно плесенью и добрая краюха, сморщенная и затвердевшая до каменной крепости, со всех сторон подточенная какой-то живностью.

Двигаться старик уже не мог, но разговаривал легко и охотно, сохранив глубокую ясность ума.

– Счастливым мамка тебя родила, – приветствовал он остолбеневшего у порога от дикого ужаса Федыку. – Ходишь.... А я вот уже который год лежу. А теперь совсем помирать время пришло.

Говорили они долго. Федыка рассказал о себе, старик свою жизнь.

– Оставили меня... дети, внуки. Ну да, Бог с ними. Сначала сил не было, – скопил он глаза на хлеб на столе, – а теперь уже и не надо. На душе такая лёгкость, вроде как очищение прошёл.... И воды давно не пью, и жажды нет. На небесах я, должно быть.

– Это казак к войне приспособлен, – ещё говорил он, – а мужик всю жизнь в земле копается, драться не любит. От беды и ушли. Фронт катит, а с ним – раззор, а то и смерть. Молодым пожить охота....

Серебряный ободок полумесяца завис над верхушкой ольхи. Ночной ветерок печально поскрипывал покосившейся пустой створой окна. Федыка лежал на голом топчане и слушал тихий шелестящий голос, будто исповедь или наказ с того света.

Солнце поднялось багровым от утреннего тумана. Старик лежал с полуоткрытыми глазами, с бледным вытянувшимся лицом. Рот был приоткрыт, сухие губы утончились.

Федыка долго стоял возле умершего, всматриваясь в его застывшее лицо, наконец, безнадежно махнул рукой и натянул на лицо кусок овчины.

К исходу третьего дня потянулись узнаваемые места. В темноте на околице его спугнули бродячие собаки. Под их дружным лаем Федыка не рискнул заходить в село.

Утром на него, спящего, набрела толпа местных баб, собиравших кислятку на пироги. С визгом, растеряв лукошки и корзинки, они бросились к деревне. А потом более смелые, сбившись в кучу, вернулись на поляну, чтобы отбить своё добро.

Федыка, никем не узнанный, не узнавая никого сквозь слезную пелену, застилавшую глаза, в коротких драных галифе, расплзающейся гимнастёрке, нелепо взбрыкивая босыми ногами, невпопад размахивая руками, прошёл меж ними строевым шагом не служившего никогда солдата.

Несмышлёнка

*История всех до сих пор существовавших
обществ была историей борьбы классов.
(К. Маркс и Ф. Энгельс)*

Так Верку зовут мать, отец и баба Дуся. Одна лишь тётка Зоя ласково и всерьёз называет Верочка, а иногда – Вера Николавна. А ей ведь уже седьмой годок и очень она в свои малые лета разумная. И корову подоить готова, хоть силёнок маловато.

Где тебе! – отмахивается мать.

Тягья смеётся:

– Иди Красотку подёргай.

А Верка-то знает, что телята молока не дают, и обижается.

Ей всё больше кажется, что в доме она не родная, наверное, приёмная. Вон у других детворы полные дворы, а она одна. Наверное, у мамки с тягькой что-то не получалось, и они взяли приёмыша, выбрав самого смышленого. Ведь никаких забот с Веркой нет. Другие стёкла бьют, дерутся, день-деньской бегают на улице, от работы отлынивают, а она – домоседка и хлопотунья. Правда, всё впустую. Ну, бабе Дусе клубок подержать, иль мамка скажет: «Пройдись голиком по избе» – вот и все дела. Отец только за квасом посылает. А когда сильно пристаёшь, смеётся: «Натаскай воды ковшом да чтоб полную баню».

Другое дело – тётка Зоя. Всегда весёлая, приветливая, хоть и жизнь у неё, Верка знает, не сложилась. В семье она была младшей, после мамки, красивой и любимой дочерью. Уле-стил её проезжий купчик и увёз с собой в Челябинск. Не обманул, женился, да не пожилось – пил запойно и драться любил. Когда разводились через суд, попробовала тётка Зоя «оттяпать» у супруга часть имущества, да не получилось. В качестве компенсации за побои присудили только вставить вместо выбитого зуба – металлический. С ним, на зависть мужикам всей деревни, и вернулась Зойка домой.

Не склонная к крестьянской жизни, она всё же не села на шею родственникам, нашла источник существования – на машинке «ZINGER» девкам и молодящимся бабам всей округи шила городского фасона наряды. Жила, по деревенским меркам, широко и весело. От кавалеров отбоя не было, и не раз её дом брали штурмом ревнивые жёны.

Баба Дуся, прежде без памяти любившая Зойку, теперь панически боялась и шёпотом кляла младшую дочь – бросила дом и вместе с угасающим мужем перебралась к Веркиным родителям.

Дед недавно умер. Верка его помнит сгорбленным, сохшимся старичком, словно прожитые годы иссушили и сделали ниже ростом. Последние дни он не спал ночами, сидел перед домом на лавке, курил махорку и морщился от болей в животе. Верка тайком от родителей пробиралась к нему, сидела рядом, тарачила глаза в чистое, усыпанное звёздами небо. Дед указывал на эти светящиеся точки, называл каждую своим именем. Он был добрым.

О том, что идёт война, Верка знала, но в глаза её не видела, всё как-то стороной обходила она Табыншу. А теперь вдруг нагрянуло столько много бородатых казаков! У всех мрачные настроенные лица. Их главный сотник со своими помощниками остановился в просторной избе тётки Зои. Эти дядьки оказались совсем и не страшными. Но тягья настрого запретил ходить туда, а тётку Зою назвал нехорошим словом.

Вот беда! Верке ну просто необходимо срочно побывать у тётки. У неё осталась на примерку новых нарядов любимая кукла Мотя, вырезанная дедом из деревяшки. Да и новостей скопилось уйма.

Вот вчера, например, с мамкой, другими бабами пошли за кислоткой в лес и наткнулись на беглого солдата. Вот страху-то! Бабы врассыпную. А Верка сразу смекнула – бежать-то хуже и осталась возле боевитой тётки Глани. Мамка, та до деревни бежала без оглядки, и только тогда про дочь вспомнила и её же потом отругала. Ну, справедливо ли?

Дак как же к тётке-то сходить, чтоб про то дома не узнали?

Верка крадучись забралась под крышу амбара поразмыслить и оглядеться.

День начинался весёлым солнечным светом, заливавшим двор, усадьбу, всю округу. К густому духу прошлогодних веников подмешивались все ароматы весны. Сотни щелей в старей крыше. Верка потянула носом, чтобы определить из какой каким запахом веет.

Дверь в избу тихо отворилась и на пороге показалась баба Дуся – маленькая старушка вся в чёрном. Её туго зачесанные назад волосы отливали серебром, и хотя ей было за шестьдесят, лицо оставалось гладким, без единой морщины. Годы будто проскользнули по ней, как вода по стеклу, не оставив следа. Она была босиком и тёрла спросонья глаза.

Значит, тятки дома нет, подумала Верка, зная, что баба Дуся очень стесняется своего зятя. Где же мамка? Может в огороде?

Она прошла по гулко хрустевшему шлаку, выглянула в слуховое окно. Судя по росе, сверкавшей на огородной зелени, день до самого заката обещал быть солнечным и ясным.

С соседского денника доносился звяк удил и тихое ржание. Вместе с хозяйской лошадейкой и беспокойно метавшимся вдоль загороди стригунком, Верка увидела чужого, под седлом, доброго коня. Наверное, тоже на постой стали, подумала Верка о соседе, и вдруг уловила в густых изумрудно-серебристых зарослях малины какое-то движение и, взглядевшись, ясно различила прятавшегося меж кустов мужчину.

Она так напрягала зрение, что даже ощутила резь в глазах, и всё же смогла различить, что незнакомец одет в сапоги, перепоясан ремнями и через плетень наблюдает за улицей.

По мере того, как он оставался неподвижным, вызывая своими непонятными действиями страх, сердце Веркино затрепетало. Она почувствовала, как от живота поднимается вверх холодная волна, захватывает всё тело, бьётся и стучит в висках.

Кто это, и что он замышляет? Скорей тятке сказать. Ах, его нету! И мамка где не ведомо. С бабкой что говорить – глухая и пугливая, даже мышей боится.

Верка спустилась вниз и бегом по улице понеслась к тётке Зое.

Два казака курили и беседовали во дворе, не обратили на девочку никакого внимания.

Невысокий, худющий, с крупными лошадиными зубами сказал:

– Насколько мне известно, его положили в полевой лазарет с высокой температурой.

– Не мудрено, – ответил другой, с лицом похожим на хитрую лисью мордочку. – Любого кинет в жар от такой бабы.

Оба громко расхохотались.

В кадучке для сбора дождевой воды Верка вдруг увидела свою любимицу Мотю, плавающую вниз лицом, облепленную зеленоватой плесенью. Обида шилом кольнула маленькое сердце. Держа куклу в вытянутых руках перед собой, как доказательство гнуснейшего преступления, девочка, едва сдерживая слёзы, спросила казаков о своей тёте. Ей указали на распахнутые двери бани.

Войдя туда, Верка была настолько поражена увиденным, что мигом забыла про Мотины беды. Тётка Зоя сидела на полу, прислоняясь спиной к лавке. Лицо у неё, совсем ещё молодое, затащила восковая бледность. Её пышные волосы в беспорядке рассыпались по плечам, горящие лихорадочным блеском глаза застыли неподвижно, как у куклы.

– Нет, это так не кончится, – бормотала она, разговаривая сама с собой. – Я ещё всем вам покажу. Да, я ничего не боюсь, меня ничто не остановит. А тебе, милый, я всё скажу, всё до конца... Нет, ты не бросишь меня здесь. Не надейся.

На лице у Верки выражение растерянности сменила гримаса ужаса.

– Тётечка Зоя...

– Где ты, Верочка? – Зойка пошарила рукой в пространстве, повела невидящим взглядом туда-сюда.

– Не оставляй меня, доченька, – произнесла она дрожащим голосом.

Поймав под руку босые Веркины ступни, она принялась осыпать их поцелуями

– Тётя Зоя, тётя Зоя, – тормошила её девочка. – Я здесь. Посмотри на меня.

Сквозь пьяный туман женщина наконец рассмотрела Верку, схватила её за руку, пытаясь подняться.

– Солнышко моё... Я хочу исповедаться, – сказала Зойка, перебравшись с пола на лавку.

Девочка зачерпнула ковш воды, сунула его тётке ко рту и вскоре увидела, что лицо её постепенно оживает, взгляд приобрёл осмысленность, знакомая улыбка заскользила по её губам.

– Ты ведь меня любишь, доченька? – еле слышно спросила она, – Так позови ко мне Митю.

И тихонько рассмеялась. Верка погладила её по волосам.

Митей звали главного казачьего сотника. Он был сорокалетним, хорошо сложенным, тёмноволосым мужчиной с суровым лицом и настороженным взглядом чёрных, как уголь, глаз. К Верке он относился хорошо. И потому девочка с большой охотой побежала выполнять тёткину просьбу. Она ещё решила, что надо дяде Мите рассказать про страшного незнакомца, прятавшегося в соседском огороде.

Но попасть в избу сразу не удалось. Через двор шагала баба, топая, как солдат.

– Калиныч, твоя идёт! – крикнул один из казаков в раскрытые сени, и дверь тут же захлопнулась.

– Открой, слышишь, – толкнула баба подпёртую дверь.

– Ты совсем спятила. Беги домой, спрячься в погреб от шальной пули: красные вот-вот будут здесь, – глухо донеслось оттуда.

– Открой, я хочу тебя видеть.

– Мы ждём приказа на отступ. Всё равно нам расставаться. Уходи.

– Если ты не откроешь, я сяду тут у порога, – упрямо сказала баба.

По двери изнутри пнули с досады:

– Вот дура! Что тебе с поглядом?

– Я люблю тебя.

Дверь распахнулась. Приземистый казак с лиловой от перепоя физиономией показался за порогом.

– У меня таких любовей в каждом селе по десять штук было, – сказал он. – Иди, иди отсюда. Кончен наш роман.

– Ах ты сволочь! – баба сжала немалые кулаки, шагнула вперёд, а потом плечи её опустились, руки безвольно повисли вдоль тела. Она горестно захлопала носом, по круглым щекам покатались слёзы.

– А ведь я тебя любила, – горестно сказала и, повернувшись, побрела к калитке, в которую уже входили двое селян.

Калиныч шагнул за порог и погрозил в спину уходящей бабе кулаком:

– Иди, иди, а то дождёшься.

Верка шмыгнула мимо него в раскрытую дверь и за столом в избе в компании пьяных казаков разглядела осоловелого сотника.

– Дядь Мить, – тоненьким голоском позвала девочка.

Но её прервали. Вошли два деревенских мужика.

– Мы, извиняюсь... – начал было который постарше.

Увидев просителей, сотник рявкнул из-за стола:

– По одному!

Оба одновременно попятнулись в двери, в замешательстве столкнулись у порога. Тогда вперёд выступил второй, теребя в руках картуз:

– Ваше благородие, с просьбой мы к вам...

Сотник кивнул, разрешая говорить, и мужик зачастил, торопясь и запинаясь.

– Так ить, пруть красные. Большими силами, говорят, пруть с городу Троицку. Вы как решили – биться или отступить? Мы боимся, чтоб село, значить, не спалили. Может вы в чистом поле?

– Что? – сотник задохнулся от ярости и мгновенно побагровел. – Бунтовать-митинговать? Хлеб-соль красным приготовили?

Сотник схватил кухонный нож и с размаха вонзил его в стол. Потом двинулся на мужика, сверля его злобным взглядом, понизив голос до зловещего шепота:

– Знаешь, что я с тобой сделаю? Прикажу повесить крюком за ребро на собственных воротах. Сдохнешь ты не сразу, может и красных дождёшься. Передай им привет от оренбургского казака Дмитрия Копытова.

– Вон! – вдруг заорал сотник над самым Веркиным ухом и до смерти напугал девочку.

Но не только её. Мужики, спотыкаясь о порог и друг о друга, стремглав, наперегонки бросились из избы и со двора.

Тут только сотник заметил Верку, перевёл дух и погладил девочку по головке. Увидел, что страх не покидает Веркины глаза, улыбнулся, поднял её сильными руками, повертел словно куклу перед собой и, поцеловав в лоб, поставил.

– Хочешь леденцов?

Конечно, Верка леденцов хотела. Получив желаемое, выложила дяде Мите все вести, с которыми пожаловала. Сотник выслушал девочку, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Разговор он закончил коротким: «Хорошо», и приказал трём казакам пойти с девочкой и поймать того, кто прячется в малине.

Подошли к указанному Веркой плетню. Стояли без опаски, курили, переговариваясь. Послали одного казака на денник, и тот, пройдя через двор, пристрелил собаку, вернулся и доложил:

– Точно. Стоит конь под седлом. По всему видать – красный лазутчик здесь.

Докурили, затоптали окурки, крикнули: «Эй, вылазь!» и принялись палить из винтовок наугад в малину. Верка со страху закрыла ладошками уши и присела на корточки.

Лазутчик выскочил неожиданно совсем рядом, высоко вскидывая ноги, прыгая через кусты и грядки, побежал прочь, придерживая кобуру маузера на ремне. Казаки стреляли ему в спину и матерились на каждый промах.

Пуля догнала беглеца, когда он, перемахнув плетень денника, стал отвязывать от прясла свою лошадь. Лазутчик боднул головой крутой бок коня и, пугая его, завалился под ноги.

Казаки пошли посмотреть на подстреленного. Верка, до полного безволия раздавленная страхом, побрела следом.

Красный разведчик лежал, подвернув под себя ноги, с широко раскинутыми руками, глаза его были закрыты. Казалось, он сладко спит, но с его белого, как полотно, лица уже исчезли все краски жизни, а изо рта сбегал ручеек крови.

На шум вышел хозяин усадьбы, сосед Василий Шумаков. Роста он был невысокого, но скроен ладно. Выглядел лет на пятьдесят. Лицо круглое, насмешливый быстрый взгляд зелёных глаз выдавали весёлый общительный нрав. Шёл он уверенным шагом, ни на кого не глядя, и казаки невольно расступились перед ним.

– Узнаёшь, хозяин, гостя? – кивнул Калиныч на труп красноармейца.

– Назвал бы гостем, – усмехнулся Шумаков, – кабы я с ним почаёвничал, а так...

– Коня-то, поди, сам привязал?

– Коня-то? Первый раз вижу.

– Да-а! Видать, мудрый ты человек, – восхитился Калиныч. – А ну-ка, ребятки, взяли его.

Не сразу казаки заломили Василию руки за спину – пришлось попытеть, даже винтовки бросили в конский навоз. Но уж когда согнули мужика – потешились. Застонал Василий, чуть не в колени уткнувшись головой.

– Что у тебя делал красный? – наливаясь яростью, прошипел Калиныч.

– А я почём знаю, – хрипел Шумаков.

В ответ получил сильный удар сапогом в лицо. Василий замотал головой. Капли крови полетели в разные стороны, и одна попала Верке на колено. Она в ужасе попятилась. Казаки толкнули Шумакова на землю и упавшего стали дружно пинать сапогами.

– Говори! Нет, ты будешь говорить! Будешь! Будешь!

– Вы убьёте меня безвинным! – закричал Василий, катаясь и корчась под ударами.

Верка стремглав кинулась с денника. Ей было страшно, хотелось спрятаться, забиться в закуток, но пересиливали страх жалость, желание помочь соседу. Дядька Вася Шумаков был хорошим, всегда весёлым и добрым. Нельзя дать казакам убить его.

Тяжка не поможет. Верка побежала к дяде Мите.

В опустевшей избе сотник и едва пришедшая в себя Зойка выясняли отношения. Он стоял к ней спиной, руки в карманах, пристально смотрел, как за окном играет солнце в серебристых листьях сирени. Зойка уже выкричалась вся и, безнадежно махнув рукой, устало опустилась на лавку:

– Не любишь ты меня, Митя. Не любишь.

Сотник резко повернулся, взял в сильные ладони её помятое, но всё же красивое лицо и сказал, осыпая его поцелуями:

– Эх, любил бы я тебя, родная, кабы не война. Эх, любил бы.

Вбежала Верка и от волнения и зашедшего дыхания не могла связно говорить. Она лишь твердила, тыкая в пространство рукой:

– Там, там...

Втроём пришли на шумаковское подворье. Верный Полкан, разинув пасть в последней угрозе, лежал, натянув цепь. Широко распахнуты были двери амбара, и сотник уверенно шагнул внутрь. Зойка с Верочкой за ним.

Хозяин с посиневшим от побоев лицом стоял на подогнувшихся ногах, неестественно далеко отклонившись от вертикали, высунув распухший язык и выпучив глаза. В этом положении его поддерживала вожжа, привязанная за скобу в стене, перекинутая через крюк в матке потолка и обвившая шею петлём.

Первым желанием сотника было освободить мужика от петли, прекратить его мучения, будто бы они ещё продолжались. Но взгляд зацепился за сгусток крови под носом и выпученные глаза удушенного.

– Поторопились, сволочи, – ругнулся он и сплюнул на земляной пол.

Оглянулся на девочку, как бы оправдываясь. Зойка вскрикнула, подхватила Верочку на руки и бегом из амбара.

Где-то глухо рвануло, сотрясая землю, и ещё раз, и ещё. В конце улицы развернулся ходок, и сразу же затрещал пулемёт, сверкая белыми огоньками. Фонтанчики пыли запрыгали по всей улице.

– Красные! Красные! – раздались истошные крики.

Огородами к лесу бежали какие-то люди, скакали верховые.

Одна из пуль угодила в выбежавшего со двора сотника и бросила его на землю.

– Зоя, – позвал он напоследок.

Тихо сказал, но Зойка услышала, вернулась и замерла столбом подле распластанного тела, пытаясь понять, жив ли. Верка ящерицей извивалась в её онемевших руках, брыкалась

и билась изо всех своих детских силёнок, пытаясь высвободиться. И лишь только пятки её коснулись земли, колыхнулась упругая Зойкина грудь, на белой кофточке начало растекаться тёмное пятно. Тётка несколько мгновений стояла неподвижно, потом силы стали покидать её, ноги подкосились в коленях, и она упала, уткнувшись лицом в Митины сапоги. Грешная душа первой деревенской красавицы отлетела вслед за любимым.

Этого Верка уже не видела. Она неслась к дому на перегонки с пылевыми фонтанчиками, которые вдруг бросились вдогонку. И догнали, если б Верка, увидав отца в калитке ворот, не свернула, кинувшись ему на руки. Фонтанчики пробежали мимо, вдаль. Но тут же возникли снова посреди улицы и ринулись к Веркиному дому.

Отец с дочкой на руках вбежал во двор, хлопнув калиткой. И тут же по воротам хлестанули чем-то звонким, полетели щепки. Вбежав в полумрак сеней, отец принялся целовать Верку, прижимая к себе, глядя по спине и волосам:

– Маленькая моя, сокровище моё...

И только теперь, уткнувшись лицом в тяткину щетинистую шею, девочка, наконец, дала волю потокам слез и оглушительному детскому рёву.

Голод

*До сих пор история не представляла ни одного примера, когда успех получался бы без борьбы.
(Н. Чернышевский)*

Над мохнатым краем леса за Горьким озером поднялась луна. Этой ночью она была безупречно кругла и чиста, Её яркий свет залил округу, а звёзды, устыдившись, отлетели ввысь. Над спящей деревней пронеслась в исступлённой пляске распластанная летучая мышь. Издалека, над озером пронёсся тонкий, жалобный, волной нарастающий звук, словно невиданной величины волк выл на сияющую луну. И вновь установилась жутковатая полуночная тишина.

Не тревожа собак, огородом старой Кутепихи крались две мальчишеские фигурки. С задов избы горбился холмик погреба. Из-под его дощатой крышки поднимались густой запах плесени и чуть уловимый аромат чего-то съестного, от которого кружилась голова, и видимое теряло своё очертание.

– Ну что, ага? – Антон Агарков заглянул в лицо своему приятелю.

– Угу, – кивнул тот головой.

Освободив задвижку из скобы, они бесшумно подняли, а затем опустили за собой крышку погреба. В кромешной темноте спустились по ступенькам лестницы. Растопыренными пальцами вытянутых перед собой рук Антон нащупал осклизлый бок бочки, отодвинул крышку и сунул в нутро руку.

Его товарищ, привлечённый шумом, настороженно спросил:

– Ну, что там?

Антон промолчал.

Потом раздался аппетитный хруст, и его не совсем внятный ответ:

– Огурцы.

– Бреешь, – не поверил мальчишка.

– На, – Антон протянул на голос руку.

Наверное, в этот момент или чуть позднее с ними случилось совсем уже неуместное веселье. Они тыкали друг друга кулаками, давились, закатываясь, смехом, повизгивая, словно разыгравшиеся щенки. Их ломало и корёжило, и не погибли они в корчах лишь потому, что подспудно присутствующий страх удерживал их от громового ликования.

Наконец смех иссяк в них досуха, до икоты, и теперь казалось, что ничто в мире и никогда не рассмешит их. Веселье им даром не прошло: от солёного рассола заболели потрескавшиеся губы.

С вечера Фёдор Агарков засыпал трудно – долго ворочался, скрипел пружинами на самом краю кровати, чтоб не потревожить жену. А в эту ночь сон и вовсе не пришёл.

Луна лежала на полу большим ярким квадратом. Белела печь с синими, слегка закопченными петухами на штукатурке, с широким продымленным зевом топки. Через открытый дымоход влетала в избу ночная, вдруг ставшая незнакомой, жизнь полупустой деревни, мерещились какая-то возня, стуки и скрипы. Табыныша клокотала, словно перекипевшая каша, или все эти звуки рождались в затуманенной бессонницей голове?

Тонкая жилка забилась в уголке левого глаза. Желание курить стало нестерпимым.

Фёдор, натянув штаны, выскользнул за дверь. Постоял, прислушиваясь. Прихлынула неестественная тишина, собралась у висков, сделалась одуряющей и вязкой. Но в следующий момент в ней забрезжили привычные звуки. Тоскливо перекликнулись собаки. Вопросительно звякнуло неутешное коровье ботало.

Заподозрив неладное, Фёдор поспешил в хлев. На этот раз беда обошла его стороной. Все пять овец были целы и испуганно жались друг к другу, запертые в загончике. Корова тревожно поводила мордой, а когда хозяин входил, шарахнулась от заскрипевшей двери.

Фёдор подкинул ей охапку свежей травы, но бурёнка только вздохнула тяжело и не притронулась к зелени. Она тарасилась чёрными влажными глазницами и мотала головой.

Кабы не заболела, мрачно подумал Агарков.

На огороде полную силу набрали цикады. Серебряные струны их скрипок будоражили кровь, навевали мысли о чём-то давнем, юном, ушедшем навсегда. Фёдор уселся на крышке погребца, раскрыл кисет, свернул самокрутку, затянулся до икоты.

Сколько было пережито за минувший год! Неурожайное лето, голодная зима, моровые болезни, смерть близких. Весна застала в Табыньше много пустых изб. Люди собирали немудрёную поклажу, укутывали детей, крестили родной угол и трогали в путь.

Фёдор каждый раз выходил провожать, долго смотрел вслед, силясь угадать, что подняло людей с родной земли, что ждёт их на чужбине, и когда его черёд. Быть может, чтобы понять это, а не в поисках чужого добра ходил он на кинутые подворья, с беспокойством вдыхал холодную сырость опустевших жилищ.

Однажды в развалины дома забрела умирать ослабевшая от голода беспризорная девчонка, маленькая, чёрная, как галчонок. Она была страшно худа. Так худа, что даже воздуху негде было в ней поместиться, и он вырывался из неё с каким-то нервным присвистом. Девчонка не шевельнулась на его зов, будто не к ней обращались. Странная была пигалица – неподвижная, с большими, совсем не детскими глазами. Фёдор не услышал от неё ни звука.

Когда принёс найдёныша домой, Фенечка округлила глаза, подхватила сынишку на руки, метнулась в угол:

– Ты в своём уме – в дом заразу принёс.

– Она с голоду помирает, – глухо сказал Фёдор, вдруг сам заражаясь страхом от слов жены. – Куда её денешь?

– Выбрось! Выбрось! – крестилась Фенечка, – Отнеси, где взял, а лучше – закопай.

– Живого-то человека?..

Сползла с печи Кутепиха, молча прислушиваясь к происходящему. Обошла девчонку со всех сторон, осторожно погладила по голове, потом легонько дёрнула за волосы, как бы желая убедиться, что они настоящие. Та неподвижно лежала на лавке и одними глазами следила за старухой. Вид у неё был жалкий.

Кутепиха извлекла из тряпицы щепотку белого порошка – измолотого корня белены – и насыпала его в ноздри девчонки. Старуха ожидала, что отравленная будет реветь, кататься по полу, биться в судорогах. Но этого ничего не было. Ручонки найдёныша несколько раз беспокойно вздрогнули, лицо исказила гримаса, а затем оно расправилось и застыло навсегда.

Фёдор торопливо пошарил рядом с собой, нащупывая кисет, скрутил сигарку потолще. Едкий табачный дым защипал в носу, забил горло. Вместе с отлетающим дымом уходило из тела напряжение, оставляя противную хлип в коленях. Мысли вновь вернулись к пережитому.

Деревня пустела, жители перебирались в город, в другие, сытные, по их мнению, края. Те, кто оставались, становились всё менее узнаваемыми, даже чужими. Незнакомыми, серьёзными и вечно дрожащими от холода выглядели дети – из прежних сорванцов не доставало многих, а выживших было не признать. Время такое – не до веселья.

Каждое утро брели они вдоль заборов, без гомона и возни, держа в грязных ручонках чашку да ложку. На деревенской площади под охраной нескольких красноармейцев дымила полевая кухня, из которой давали ребятишкам американскую рисовую кашу с тушенкой.

Впрочем, помощь эта подоспела совсем недавно.

Вдруг рядом раздался то ли шорох, то ли шёпот. Слабый, он чуть слышно шёл из-под земли. На глаза попали пустая скоба погребной крышки и валявшаяся на земле задвижка.

Фёдор заподозрил неладное. Подняв крышку, он долго всматривался и вслушивался в сырую темноту подземелья.

– Эй! Кто там есть – выходи. А то насовсем оставлю, – сказал он негромко, но твёрдо.

И не сразу темнота ответила лёгким шорохом и движением воздуха. Сомнений не осталось.

Фёдор отодвинулся от края, чтобы не служить мишенью:

– Ну, долго я буду ждать?

Из темноты нарисовалась голова:

– Федь, это я – Антошка.

– Ты что, паршивец, здесь делаешь?

Агарков буквально вырвал, схватив за шиворот, из-под земли на свет лунный младшего брата и как следует, встряхнул его.

– Да я, я... – Антошка захныкал, размазывая кулаками по щекам грязь и слёзы.

– Не реви, – тяжёлая рука Фёдора взметнулась над парнишкой, да так и застыла. – Всё матери расскажу, она тебе задаст. А мало, так я всыплю. Воришка несчастный.

В это мгновение другая фигурка выпрыгнула из погребного лаза и, громко шлёпая босыми подошвами, понеслась прочь. Рванулся изо всех сил пленённый Антон, но лишь закрылся на месте, болтаясь как на крюке в железной хватке старшего брата.

– Ах вы, мерзавцы! Ах, воры! – негодовал Фёдор, но на душе у него вдруг повеселело. – Ну, дождёшься ты у меня.

Он подхватил хрупкое тельце подмышку, протащил по огороду в баню, грубовато швырнул его на пол, громко хлопнул дверью и подпёр её снаружи.

Антошка огляделся, привыкая к темноте, и понял, что света проникает ровно столько, сколько надо, чтобы понять, что ничего не видно. Пошарил вокруг себя руками, нащупал каменку, вспомнил, что она, конечно, сажная, и, представив, каким он завтра будет выглядеть, даже хихикнул.

Ни матери, ни старшего брата он, конечно, не боялся: всё угрозы – никакой порки не будет. Не боялся он и ночёвки в тёмной бане. Потому, забравшись на полочку, свернулся калачиком, подтянул к груди колени и утопил в них лицо.

От бани огородом Фёдор прошёл к родному дому, поскрёбся у окна.

– Кто? – послышался из сеней испуганный голос.

– Открой, мама.

Она узнала, открыла.

– Чего ты, Федя?

Он взял её жёсткую ладонь, притянул к губам.

– Так... Не спится.

Наталья Тимофеевна отступила вглубь сеней, разглядывая сына и щура заспанные глаза.

– Заходи, – сказала она. – С чем пришёл?

Фёдор плотно затворил дверь и сказал в непроглядную тьму:

– Ну, не каяться, конечно.

– Ай-яй-яй! – мать появилась откуда-то сбоку, держа в согнутой руке горящую лучину, – тебе теперь днём-то и дороги нет в родной дом.

Прошли на кухню. Мать подпалила фитиль в плошке с лампадным маслом.

– Есть будешь?

Фёдор мотнул головой. Он стоял, не присаживаясь, готовый уйти немедленно, если мать не прекратит свои насмешки.

Наталья Тимофеевна будто поняла настроение сына, отвернулась, устало махнув рукой:

– Живите, раз сбежались. Сынишка у вас – внучок мой. А баба она дородная, строптивая только, на мужика сильно смахивает, даже усы вроде как пробиваются.... Не бьёт ещё тебя? Ну и, слава Богу. А впрочем, говорят, кто сильно бьёт, тот сильно любит....

Фёдор сдержался.

Полузабытые запахи родного дома вскружили голову, к сердцу подступила тоска по чему-то дорогому и навсегда утерянному. С зимы, с последних похорон он здесь не бывал, хоть и живёт в двух шагах.

Вот и Санька заревела – давно не видела его, не признала, испужалась. Проснувшись, слезла с печи. Они уже с матерью наговорились, напились чуть тёплого чаю. Тянет Фёдор её к себе, а она руки прячет за спину, загораживается, как от вора. Коротка память у людей.

Санька – неловкая, застенчивая девчонка-переросток – и ключицы-то, и локти у неё выпирают, и сутулится она – не знает куда руки деть. И ноги у неё длиннющие, тощие, словно две жердины. А всё ж для матери, для родного брата мила она и привлекательна. Оба с нежностью смотрят на неё, любят.

Уходя, Фёдор спросил, где Антон.

– На сеновале спит. Все коленки сбил, места живого нет – непоседа, – говорила мать, стоя у порога.

Бредя огородом, Фёдор думал о том, что и он в Антошкины годы не мало обтряс соседских яблонь, опорожнил чужих кринок от молока из колодца. Но тогда было другое время, и только добрая порка грозила в случае неудачи. Теперь народ озлобился: убить воришку – плёвое дело. Надо будет всерьёз поговорить с братом. И хорошо, что матери не сказал.

Дома прислушался к спокойному дыханию жены. Сын, Витюшка, перевернулся на живот и сдавленно всхлипнул. Фёдор подоткнул ему под бок одеяло.

«Тебя бы, сынок, миновало нынешнее лихолетье», – молитвенно пожелал он малышу то, что желал каждую ночь. – «Спи и просыпайся без страха». Тихо улёгся на кровать с открытыми глазами, закинув руки за голову.

Небо за окном посерело.

В эту голодную зиму у старухи Кутепихи появилась новая причуда – она перестала есть днём. На все уговоры Фенечки, отрицательно качала головой и повторяла:

– Не хочу, доченька, спасибо.

Отложив кусок, другой, она подкреплялась ночью, таясь от посторонних. Ну, а Фенечка думала, что бабка живёт святым духом и твёрдо в это верила. Фёдору недосуг было до чужих причотей, а когда привязалась эта бессонница, то старухина хитрость перестала быть для него секретом.

В эту ночь голод поднял Кутепиху далеко за полночь. От распахнутого погреба она приковыляла к запертой бане и наткнулась на спящего мальчишку. Долго, согнувшись, обнюхивала и ощупывала его, но так и не признала. Антошка жалобно вздыхал во сне, его удлинённое личико было утомлённым.

Вернувшись в избу, Кутепиха прежде всего посмотрела правнучонка. Взгляд её был добр и близорук. Фенечка спала одна, раскинувшись на всю кровать, на белом лице выделялись почерневшие веки.

Старуха забралась на печку, но сухие глаза её долго смотрели в щель занавески.

Темнота рассеялась. С неба незаметно опустился туман, приник к земле так, что близкий лес, утонул в нём по пояс. Проснулись птицы. Солнце, поднявшееся за далёким горизонтом, разбудило ветер, и тот разорвал туман на клочья, унёс вдаль.

Фёдор растолкал заспавшегося Антошку. Вид мальчика был не просто утомлённый, напуганный, а даже какой-то болезненный. Под глаза глубоко легли синие круги, на щеках размазана грязь, под носом присох белый налёт, а в уголке рта поблёскивала слюна. Младший

брат выглядел настолько несчастным, что Фёдор воздержался от готовых упрёков, проворчал только:

– Воришка несчастный, сопли подтери.

– Я не сопляк, – Антон обиженно отвернулся, сгорбился и пошёл нетвёрдой походкой.

Но недалеко. Его повело сначала вперёд, потом назад. Мальчик сбился с шага, засеменял и, наконец, неуклюже сел на подогнувшиеся ноги.

– Совсем забегался, – ворчал Фёдор. – Только не ври, что в доме нет куска хлеба, голодом тебя качает.

Он отнёс мальчишку на сеновал. Уходя, напутствовал:

– Матери я ничего не скажу. Но если узнаю, будешь продолжать, я тебя сам одним махом за всё сразу....

Он скрутил что-то невидимое в ладони и дёрнул к себе – будто серпом подрезал колосья.

У Антошки ни с того, ни с сего потекли слёзы.

В то утро в Табыншу пришло лето. Жара струилась по подсыхающей земле, и она запахла под солнцем.

Нюрка Агаркова, не дождавшись сестёр, пошла занимать очередь за кашей. У плетня на куче перепревшего навоза сидел мальчишка лет пяти и, уцепившись тоненькой ручонкой за палку, отталкивал худую женщину, свою мать. А та тянула парнишку к себе. У матери было перекошено от бессилия лицо, у сына – упрямое, с прикушенной губой.

Мальчишка то ли боялся идти дальше, то ли у него не было для этого сил, а женщина, сама, еле двигаясь, не могла уже тащить его. Наконец мать сдалась и отпустила его ручонку. И вдруг затряслась в беззвучных рыданиях так, что страшно было смотреть.

Нюрка знала их: и женщину, и её сына – Ваньку Пинженина, с которым не раз играли вместе.

Ещё издали она заметила толпу ребятишек и нескольких взрослых, собравшуюся посреди улицы там, где белёные мазанки, полузатопленные вишнёвыми садами, расступились, образуя деревенскую площадь. В центре большой котёл на колёсах дымил трубой. Поодаль на траве курили красноармейцы с винтовками. Но всеобщее внимание привлекал приземистый мужчина в штатском. Широкоскулому лицу его, особенно глазам, откровенно не хватало выразительности. Зато уж чего было в избытке, так это железных зубов во рту.

Это он, орудуя поварёшкой, раздавал ребятишкам кашу, вкуснее которой не было ничего на свете. Его любила и узнавала вся деревенская детвора. И Нюрка тоже. Она даже завидовала его собаке, кудлатой дворняжке с репьями на хвосте, которая могла повалиться на спину и заскулить от великого счастья у ног своего хозяина. Сейчас она катает между лапами пустую банку, вылизывая в тысячу первый раз давно выветрившийся запах американской тушёнки. Но ведь Нюрка не дворняжка. Она встала в затылок последней в очереди девочки, прижимая к груди чашку и ложку.

Железзубый дядька открыл огромную крышку котла, его окатило пахучим паром. Быстро перебирая лапами, дворняжка подползла к сапогу своего хозяина – в глянцевого голенища отразилась острая собачья морда.

Началась раздача каши. Получившие свою порцию усаживались на траве. Нюрка быстрым ревнивым взглядом подсматривала за ними. Вот у этой лупоглазой девочки болезненного вида совсем отсутствует аппетит. Соседские мальчишки Шумаковы дождались своей очереди. Старший, Колька взял свою порцию и бочком, бочком в сторонку, жуя на ходу. А младший, Котька, рванулся бежать куда-то и вместе с кашей со всего размаху – в пылюку. Вот умора! Вот дурак!

Нет уж, думала Нюрка, она своего не потеряет – и кашу всю съест и чашку вылижет.

Скулила от нетерпения дворняжка. Народ всё подходил и подходил. Показались Нюркины сёстры. Они вели под руки ослабевшего Антона. Показалась женщина, тащившая сына

за руку, но это был не Ванька Пинженин. Пришла Наталья Тимофеевна с малолетним Егоркой на руках.

Нюрка уже доела свою порцию и вылизывала чашку, вертя её в руках, как та дворняжка банку, когда появилась деревенская дурочка Маряха. Железнодорожный ей отказал, заявив, что каша только для детей. Тогда она села неподалёку на землю и стала раскачиваться, и драть седые космы на непокрытой голове. Её надрывный плач далеко разносился между домами.

– Будь ты проклят! – вопила Маряха, лупя кулаками по земле. – Узнаешь у меня, как обижать старуху.

Устав причитать, она поднялась с земли и, продолжая громко стонать, заковыляла прочь.

Нюрка, набравшись храбрости, ещё раз подошла к котлу. Железнодорожный это заметил.

– Что, мало? – Хмуро спросил он. – Курочка по зёрнышку клюёт, а сыта бывает.

– Не, дяденька, это не мне, – Нюрка ткнула пальцем в угловой дом, – Там мальчик у забора сидит, он сам дойти не может.

– Врёшь, конечно, – нерусский акцент железнодорожного проявился явно, – но как убедительно. И это стоит обедни!

Он щедро перевернул свою поварешку над Нюркиной чашкой, потом подал хлебный ломоть. Девочка не думала никого обманывать, но и не гадала, что ей поверят.

Пинженины, Ванюшка и мать, сидели всё у той же, заросшей лебедой кучи навоза. Пока Ванька торопливо ел, давясь непрожёванным хлебом, а мать отрешённо, но неотрывно, смотрела на него, Нюрка играла в считалку, загибая пальчики:

– Птичка-синичка дай молока...

Тем временем Антон Агарков упал в обморок. Должно быть, от запаха каши, решили люди. Его оттащили в сторону и окатили водой из горшка. Он пришёл в себя, но к пище так и не притронулся.

Солнце поднялось совсем высоко, отвесные лучи немилосердно палили землю, дрожало прозрачное марево нагретого воздуха. Фёдор, управившись по хозяйству, ушёл с тележкой в лес – собирать хворост. А когда, возвращаясь, остановился утереть пот, его окликнули из ворот родительского дома.

В комнатах было тихо. Напуганные необъяснимым девчонки жались по углам и друг к другу. Наталья Тимофеевна, вслед за мужем оплакавшая трёх дочерей, без криков и стонаний приняла на свои плечи новое горе. Сидела она за столом в тени закрытого ставнями окна и, не мигая, смотрела на свои руки. Антон лежал на родительской кровати. С одного взгляда было видно, что он мёртв – лицо побледнело и вытянулось, а вокруг закрытых глаз толклись мухи.

Фёдор сразу припомнил и непонятную Антонову слабость и бледность. И даже слова его последние. И чтобы он не делал остаток этого дня, когда хлопотал об устройстве похорон, какая-то доступная загадка тревожила его сознание. Казалось, не хватает лишь малого штриха, зацепочки, чтоб всё стало на свои места, чтобы можно было объяснить необъяснимое. Белый налёт, что засох у Антошки на губе, шилом колот сердце, будил память.

Ночью то и дело принимался хлестать дождь. Ветер налетал порывами, но, не сумев набрать силы, гас. Однако после полуночи непогода стихла, лишь косматые клочья облаков проносились по небосклону, заставляя плясать полную луну. Фёдор, горевавший с матерью и старшими сёстрами у гроба, вышел покурить.

Ночь разлилась тёплая и влажная. У края земли порой вспыхивали зарницы, но грома не слышно. Кто-то проковылял огородом и скрылся под сенью кутеповской бани. И хотя низкие тучи то и дело закрывали луну, а ветер шумел листвою, заглушая все звуки, Фёдор безошибочно определил полуночника.

Вслед за старухой он прошёл в баньку, чиркнул спичкой, поднёс её к морщинистому лицу Кутепихи:

– А ведь это ты, ведьма, брательника моего отравила.

Старуха ничуть не испугалась ни его неожиданному появлению, ни словам.

– И я Феденька, таковская была – последнее с себя отдавала, – её дребезжащий голос звучал, казалось, на пределе старушачьих сил. – А теперь не хочу, чтобы внучка моя с голоду сдохла... и ребялёночек твой. Так-то вот.

Фёдор, удивляясь своему спокойствию, засветил ещё одну спичку, нагнулся, с кучи лома за каменкой поднял железный прут и без размаха, вполсилы ударил старуху по голове. Та не шумно упала. Выждав немного, Фёдор наклонился, нашупал костлявую руку. Несколько слабых конвульсий шевельнули пальцы, и сильные вздохи оборвались. Фёдор достал из-за каменки увесистый обломок чугуна, сунул его Кутепихе запазуху, надорвав кофту. Потом взвалил тело на плечо и вышел, пригнув голову.

От озера пахло болотной сыростью, Не доходя до воды, он скинул сапоги, поболтав в воздухе ногами. Прочмокал илистым берегом. В зарослях куги открылся чистый плёс. Зайдя в воду по грудь, Фёдор спустил с плеча труп и погрузил его в тёмную воду. Юбка вздулась пузырьём и тут же опала, с лёгким шипением утянулась на дно.

Фёдор постоял растерянно, посмотрел на свои руки, зачем-то понюхал их и начал отмы-
вать. Забывшись, зачерпнул и хлебнул солоноватую воду. Его стошнило.

Отплёвываясь и кашляя, он брёл к берегу, а потом долго искал в темноте сапоги, и совсем расстроился, когда обнаружил, что подмок табак.

Свадьба

*Люди умные и энергичные борются до конца,
а люди пустые и никуда не годные подчиняются
без малейшей борьбы всем мелким случайностям
своего бессмысленного существования.
(Д. Писарев)*

Человек живёт своей памятью. Если было что в прошлом приятного, счастливого, удачного да забылось, так считай, что и не было ничего. И жизнь начинается с того момента, который первым запомнился.

Для Егорки Агаркова осознанный бег времени начался в январе 1924 года, хотя не было тогда мальчишке и пяти лет. Всю жизнь хорошо помнил он свадьбу старшей сестры, Федосьи, а дату никак не перепутаешь – в те дни страна скорбела по Ленину.

Быть может, отдельные эпизоды привнесены из других временных отрезков, но рассказ о том дне, излагаемый в течение долгой жизни неоднократно, имел свою стройность и завершенность.

Просторный дом с вечера плохо протапливался, а к утру напрочь выстужался. По этой причине обитатели его спали кучно, насколько позволяли лежанки. Егорка, как самый маленький, ложился с матерью на родительской кровати. Нюрка порой, замёрзнув среди ночи, перебежала к ним, что, конечно же, мальчишке не нравилось. Когда во сне их ноги соприкасались, Егорка машинально отдёргивал свою и, в конце концов, свернувшись калачиком в углу кровати, просыпался.

Рассвело.

Мать хлопотала по дому. Егорка услышал, как просыпается Нюрка, чмокает губами, вздыхает, но бранится с ней не стал. Дрожа от холода, поднялся, осторожно ступая босыми ногами по студёным половикам, подошёл к двери и выглянул на кухню. Один её угол был косо освещён солнцем. Там на лавке стояло цинковое корыто с горой набитое сладкими пирожками, шанежками, ватрушками, накрытое простынёй – на свадьбу. А ещё в сенях теснятся чугунки и чашки с холодцом. Там слышны возня и голос матери. На лавке у печи, развалившись пьяным мужиком, закинув ноги на тёплую стенку, спал пушистый кот. Печная пасть набита берёзовыми поленьями, от пучка лучин занимался огонь, хорошо отражаясь в окне напротив.

Наспех одевшись, сунув босые ноги в чужие валенки, тихо, стараясь не скрипеть дверью, Егорка вышел в сени.

– Я всю ночь не спал, – пожаловался он на Нюрку.

– Я тоже ночь не спала, да и как спать: шутка ли – гостей сколько будет, – мать разговаривала с ним, как со взрослым. Ей дела не было до его ребячьих обид.

Егорка вышел из сеней и вздохнул чистый морозный воздух. Солнце светило откуда-то сбоку, а прямо над головой клубился туман. Редкие снежинки по широкой спирали падали с высоты. Вертикально в небо поднимались два белых дыма из прокопченных труб соседних изб, на одном шевелилась чёрная подвижная тень другого.

Справив нужду, защемив меж пальцев соломинку, Егорка, подражая старшему брату Фёдору, «покурил», выпуская клубы пара. Мороз щипнул за нос и щёки, попытался юркнуть за шиворот. Мальчишка бросил, затоптав, «окуроч» и засеменял в избу.

Был он единственным, хоть и маленьким мужиком в семье. Мать и старшие сестрицы баловали его, как могли. Зато от Нюрки хватало обид по самоё горло. После завтрака она заманила его в дальнюю комнату и, пользуясь свадебной суматохой, запёрла там.

Конечно, если бы Егорка принялся стучать и кричать, его бы нашли, а Нюрку наказали. Но уж больно не хотелось признавать своё унижение. Он забрался на кровать, готовый, если сестра всё-таки сжалится и выпустит его, показать полное презрение к происходящему, прислушивался к стукам, брякам, возгласам и смеху – в доме выкупали невесту. Там, конечно же, было веселей и интересней.

Дверь хлопнула в последний раз, голоса стали удаляться и пропали. Егорка уткнулся носом в подушку и заревел. Утопив горе в слезах, он уснул.

Между тем, свадебное гульбище натолкнулось на непреодолимое препятствие – председатель Сельсовета Иван Андреевич Шумаков не только отказал в регистрации молодым, но и пригрозил многими неприятностями веселящимся в дни всенародного траура.

Никто не желал прослыть белоэлементом, и тем более попасть в немилость к власти. Свадебный поезд как-то сам собой рассыпался, многие развернулись по домам. Наталья Тимофеевна блюдя обычай, торжественно и чинно встречала оставшихся у порога. Она кланялась им в пояс, рукой до земли, и говорила нараспев:

– Добро пожаловать, гости дорогие! Прошу не побрезговать угощением, отведать, что Бог послал.

Мужики, бабы проходили, выпивали стоя, кричали, вытирали ладонями губы, закусывали, поздравляли молодых, благодарили хозяйку и... бочком-бочком на улицу.

За столом собрались только близкие родственники.

У Фёдора Агаркова в тот день были и личные неприятности. Фенечка, усмотрев со стороны свекрови какое-то пренебрежение, наотрез отказалась быть на свадьбе и сына не пустила. Фёдор томился своим одиночеством и первым заметил отсутствие Егорки.

– Гости за столом, а хозяин спит.

Егорка проснулся, когда услышал голос старшего брата и почувствовал его широкую и тёплую ладонь на своём плечике. Он оттолкнул её и протёр кулаками глаза.

– Что надулся? Ну, говори уж, что натворил.

– Ещё не натворил, – со вздохом ответил Егорка, – но скоро натворю.

– Ну, когда натворишь, тогда и ответ будешь держать, – сказал Фёдор, – А раньше времени не стоит каяться. Ну, что же ты лежишь? Вставай, угощай гостей.

А сам вместо того, чтобы поднять Егорку, привалился на кровать и придавил его.

Фёдор хоть и держал себя с братом на равных, по возрасту ему в отцы годился – его сын Витька лишь на полгода моложе. Если бы не суровость Фенечки, Егорка дневал и ночевал бы у Фёдора, а племяннику завидовал лютой завистью. Сейчас он был почти счастлив.

– Расскажи про войну, – теребил брата.

– Я её не видел, – улыбнулся Фёдор. – Я от неё по лесам бегал.

– И что, совсем-совсем ничего не видел, не помнишь?

– Один только момент, когда нашу деревню освобождали. Со стороны Михайловки пушка бьёт, а белосвoločь, казачё там разное огородами драпает. Вот это сам видел.

Вошла мать.

– Что же это вы тут притулились вдвоём? – спросила она.

– Да так, войну вспоминаем, – сказал Фёдор. – Дверь не закрывай, пускай так.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.